

ЕВДОКИЯ ШЕМЯКИНА

Предисловие

Я знаю, что моя биография не очень умело написана, но в ней есть своеобразность и выстраданные мысли, которые я бы желала передать другим.

ЖИЗНЬ БУРЖУЙКИ

Часть первая

Родилась я в городе Шуе в 1880 году 5-го января. Семья наша была большая: дедушка, бабушка, папа, мама, девятеро ребятишек, в том числе и я, Дуня. Старше меня на год была сестра Катя, потом следовала я, Маня, любя, Ваня, Саня, Леня, Анюта, Надя, а много позже Коля. Между братом Саней и Леной была сестра Лидочка, умершая маленькой, до года, а между Леной и Анютой братец Костенька, мой крестник, умерший на втором месяце своей жизни. Я помню, как он умирал: слюнка пенилась у него из ротика, был он маленький, слабенький, даже не плакал сильно. Жалко мне было очень его.

Дедушка, папочка были оба высокие, широкоплечие и полные. По характеру совсем разные. Дедушка, суровый с виду, был очень добродушен, любил посидеть на лежанке в нашей детской, когда подросли любил поиграть с нами в дурачки, свои козыри, стукалку: приносил медные деньги, раздавал их нам и всегда оставался в проигрыше. Водил он нас в цирк Никитина, бывало возьмет четверых, пятерых и усядется с нами на высокой лавочке, сам седенький с длинной окладистой бородой. Любили мы очень смотреть на

дрессированных животных. Дедушка часто оделял нас мытными и медовыми пряниками, дешевой пастилой. Никогда бывало не ест один, а любил, как и мы полакомиться. Катю и меня взял один раз с собой даже на диспут между староверами и нововерами. Мне было 10 лет, кате 11. В самый критический момент, слушая, дедушка вдруг начал чихать; мы ему шепчем: «Дедушка, дедушка, потри переносье» (на нас оглядываются), а он не слышит, да еще шибче, раз двадцать подряд! В зале заулыбались, засмеялись, напряжение разрядилось, страсти улеглись, спор затих и прения кончились. Любил дедушка Иван перед обедом выпить одну рюмочку портвейна, стоя у буфета, и меня кричал: «Поди, Авдотьюшка, выпей со мной полрюмочки», и я бежала на зов и выпивала с ним.

Папочка был горячий, вспыльчивый, строгий, а в сущности очень любящий нас отец. Когда он был болен или не в духе меня посылали к нему. Я шабарила, разбирала волосы у него на голове или читала ему вслух газету пока он не засыпал. Выпивал он только с гостями в большие праздники, именины и то немного. За свою жизнь я видела его пьяным только два раза. Это был в деревне, когда заехал к нему друг его молодости и они вспоминали тсарое. Пьяный, он делался таким добрым, щедро оделял прислугу и шутил со всеми.

Мамочка полная, добрая, ко всем нам ровная, ее мы не боялись совсем как и дедушку. Когда расшалимся очень, случалось раздеремся, стоило крикнуть «папа идет», как все притихали. Мама научила нас молитвам, вышивать крестиком по канве и вафле, вязать и шить немного. Порой, чтобы мы уж

н больно шумели, она собирала нас около себя и, взяв кружево, рассказывала нам сказки или говорила стихи. Любимой ее сказкой была «При сестрицу Аленушку и братца Иванушку», а стихотворением – «Сиротка», оно начиналось «вечер был, сверкали звезды, на дворе мороз трещал, шел по улице малютка, посинел и весь дрожал» и т.д. Мамочка, хоть кончила только сельское училище, но из поэмы Некрасова «Русские женщины» знала очень много наизусть и передавала нам без книжки. Мою няню звали Матреной, а впоследствии она стала монахиней Маргаритой. Добрая, набожная старушка иногда поднимала нас ночью и заставляла нас молиться за маму во время родов и в других случаях. «Царица небесная, спаси и сохрани нас от всяких бед, дай здоровья папе и маме. Апостолы Петр, Павел и Иоанне, молитесь Бога о нас!», говорила она, показывая на звездное небо: «Вот они там!». Ее сменила няня Александра, сердитая старуха, которой раз сестра Маня в отместку положила в карман кусочек хлеба, пропитанный постным маслом.

Бабушку Агафью я помню мало. Она была такая постница, постоянно ходила в церковь, оттуда приносила нам вкусные просвиры; иногда она, надев большие круглые очки, читала нам «Жития святых» в огромных толстых четвяминеях. Мы слушали их, как сказки, и они западали нам в душу. Мне запомнилось, как она умирала. Играли мы дети на полу в лодыжки, вдруг нас позвали к бабушке поститься, она перецеловала нас, перекрестила, дала всем по золотому, которые мы сунули потом каждый в свою копилку.

Простилась она с приехавшими замужними дочерьми, с мамой и папой (которого я первый раз видела в слезах), и дедушкой. Попросила перенести ее с кровати на кушетку, стоявшую под образами (на перине грешно было по старине умирать), велела читать отходную и тихо скончалась, только все пальцами словно обирала что на себе. Было ей 64 года. Доктор говорил, что она извела себя постом, на одной просвирке была неделями в великий пост. Дедушка и папочка любили хорошо поесть: горячая солонина с хреном и горчицей, малосольная севрюжка, соленые рыжики и грузди с льняным маслом, жаренная телятина, летом – окрошка – были их любимые кушанья, да еще пельмени изредка, которые делали мы всей семьей по несколько сот. Сочень делали на яйцах, раскатывали очень тонко, так что иногда просвечивало мясо. Это ведь не такие пельмени, как теперь продают. Варили в соленом кипятке пока не всплывут кверху. Ел папа, посыпая их перцем, он любил, чтобы мяса было много и пельмень едва зашипывался. Пирожки белые стряпали по воскресеньям да праздникам.

Прадедушки наши были государственные крестьяне, крепостными не бывали. Некоторые в роду ходили афонями, потом перешли на хлебную торговлю, ездили в холуйскую пристань Моршанск, Житомир и другие места. Прежде долги в деревне записывали на деревьях и н было случая, чтобы их не отдавали. Папочка рассказывал нам, как дедушка женился: он смастерил себе крылья и собирался лететь с крыши сарая, его, голубчика, оттуда стащили и повезли невесту смотреть.

Бабушка Агафья была его старше на год. Случалось, приезжала к нам дедушкина сестра, бабушка Авдотья, жившая с мужем в деревни Мокрушено. Папочка все ее смешил, напоминая ей, как она девчонкой ездила на ярмарку. Она просила, просила взять ее с собой, ее не взяли, она и залезла в ящик с крышкой, делавшийся прежде сзади тарантаса, там и притаилась. Тарантасы-то были не рессорные. Пока по гладкой дороге ехали молчала, а как затрясет на гатях, она и завизжит. Откуда доносится визг не понимают. Приостановят лошадь, опять тихо. Как поедут пошибче, опять завизжит, да что это такое: «с нами крестная сила». Верст 7 так проехали, насилу догадались, вытащили ее из ящика и посадили с собой, так и побывала на ярмарке. Она слушала и вся смеялась, руки у ней дрожали и чай расплескивался. Торговля была у нас хлебная под домом, в Шуе на главной площади против пожарной каланчи. Зимой мы проводили в городе, а лето в деревне Тарбаеве в 40 верстах от Шуи. Оттуда был родом дедушка, там был у нас дом, сад, огород и выкупленный крестьянский надел.

Самые лучшие детские воспоминания относятся к жизни в Тарбаеве. Много у нас там было подруг и товарищей. Ольгушка-лягушка, Танька Вихорева, Ванька-Бульба, Ванька Рыжий, Санька Кулик – это лучшие. Затем Осип несуразный, Борька ябедник и плут, Машка-плакса и другие. Меня дразнили Дунька-бздунька. Я не любила своего имени.

По вечерам играли на лугу перед домом в палочку-застукалочку, пятнашки и горелки. Как сейчас помню, Санька

Кулик и я были самыми быстрыми и в горелки как встанем в пару, так уж не расстаемся. Мама, бывало, скажет: «как тебе, Дуняша, не стыдно: коленки-то сверкают». А папочка: «Зачем ты ее останавливаешь? Придёт время, сама не побежит. Ну-ка, запузыривай, ребята, кто скорее». А мы и рады стараться. У мальчишек рубахи пузырями надуваются из-под пояса. Позднее подросли, стали играть в крокет, лапту, серсо, кататься на гигантских шагах. Когда мне было лет 8, у нас стал жить двоюродный брат Миша, лет на 6 меня старше. У него отец был запойный, мать его, папина сестра, не могла дать ему образования и поместила его у нас, он и стал учиться в Шуйской мужской гимназии. Родители его жили во Владимире. Миша был высокий, стройный, ловкий и такой интересный для нас собеседник. Я очень его любила и дружила с ним. Был у нас в деревне еще один кавалер его же лет или на год старше, Александр Федорович Мухин, из богатого дома Мухиных. Его отец и дядя имели магазин в Вильно и приезжали в деревню отдыхать. Александр Федорович был толст, тяжел, хоть и красивый лицом, да не ловкий. Миша был моя симпатия, а Александр Федорович – Катина. У него было две сестры немного его постарше: Мария Федоровна и Вера Федоровна и братья, приезжавшие из Вильно редко. Дом у них был деревянный, в два этажа с мезонином, во втором этаже 9 окон, а под тремя средними окнами ворота. У нас дом был одноэтажный в 6 окон, по лицу тоже с мезонином и палисадником, где росли высокие рябины, своими верхушками залезавшие к нам в мезонинные окна. В

мезонине жили мы, девочки. Против наших домов стояли красные каменные палатки двухэтажные. Многие деревенские тащили свои сундуки на сохранение от пожаров и воров. Нашего в палатках добра хранилось немного, оно было в Шуе. У Мухиных была фисгармония, как пианино, попугай ученый в клетке, вообще, они были нас богаче. Старший из Мухиных, ровесник моему дедушке, Афанасий Федорович, был в Вильно попечителем нескольких учебных заведений и делец, по выражению папы. Под конец жизни он был большой чудак. Когда выпьет, велит заложить пару в дышлах, наденет свои ордена и медали и поедет кататься в ближайшие деревни, а то уляжется в приготовленный для себя дубовый гроб, дескать «привыкать надо». А то придет к нам, молодежи, и запоем «В старину живали деда веселей своих внучат». Притопывает на затылок тонким голосом «Три, три, три». Он был красивый, хотя и седой, с женой своей, Анной Прокофьевной, любили посидеть на лавочке за столиком у палатки, в прохладе; бывало, бегу я мимо, он все меня подзывает «Иди-ка, иди сюда, ох ты говно говенное», было его ко мне ласкательное слово.

Анну Прокофьевну, красивую, опрятную и добрую старушку, мы очень любили и играли с ней в шестьдесят шесть. Дети у Мухина были от другого брата, Федора Федоровича, и Ольги Мартыновны, женщины грузной, грязной, которая славилась своей скупостью, а сама все ела сладкие пирожки, вытаскивая их из карманов. Голос у нее был визгливый и мы

ее не любили. Федор Федорович далеко отставал от брата и по уму, и по делу, и по виду.

Папа мой, Иван Иванович Турушин, был в деревне всегда в хорошем настроении, не так как в городе: вечно озабоченный и частенько раздраженный. В Торбаеве он часто ходил на охоту за тетеревами, рябчиками чернышами, глухарями, бекасами в ближайшие болота. Вечером любил поиграть с Мишей и Александром Федоровичем в городки: кто проигрывал, тот таскал на закорках другого. Смешно было на них смотреть. Мама выходила с работой к палатке под тень на скамеечку, а на лужок кругом собиралась детвора и бабы с грудными ребятишками.

Дом наш стоял в конце деревни, второй от края, а Мухин посередине. Деревня была в один порядок, домов 18 – 20, в стороне от большой дороги; на обоих концах ее на дороге были воротца из жердей, в середине колодезные журавли. Напротив изб сады, огороды, погреба, амбары. Лужок всегда был зеленый, не вытапывался, дорожка в середине узенькая и не разъезженная. Сзади садов и огородов место снижалось, переходило в болото с мелким редким леском, мы там набирали много гонобоблю, пекли с ним пироги и лили пастилы. Через это болото шла тропа в ближнее село Алексино, на полдороги был, так называемый, татарский колодчик вровень с землей, глубокий, который мы боязливо обходили. Ближе к Алексину на дороге начинался густой сосновый бор. Было в деревне 4-е пруда, в двух из них мы купались, а в двух других только утки плавали и лягушки, да

белье полоскали. Я и брат Ваня тонули в пруде у Мухиных в саду. Меня-то скоро вытащили. Я упала в платье с раздевалки, засмотревшись на купающихся и сейчас помню, как я мокрая, в прилипшем платье, пробиралась мимо дедушки Афанасия: он меня кричит, а я с драла... А Ваню откачали и водили потом под руки, чтобы не уснул. Сбоку и сзади нашего дома был двор, накрытый тесом, в нем конюшня и хлев для коровы. Дальше сзади сад, в котором росла громадная липа и были ягодные кусты пчелиные ульи, а еще дальше гумно, поле и ельник, так мы его называли, в сущности, это был разнолесок. В ельник мы ходили за грибами и земляникой. Я любила помогать своим подругам в полевых работах, лен, жала рожь. Раз сильно обрезала мизинец, едва уняли кровь, прилаживали . и сейчас еще шрамик видать. Постарше стала косить, ворошить и убирать сено, менялись с подругами пирогами, нам нравились их ржаные с ягодами, а им наши пшеничные. Вечером катались на гигантских шагах, устроенных против дома на лужайке. Катались все деревенские ребята, мешки были привязаны низко к веревкам и стукнуться об столб было не так легко. Катались малыши, которых мы сначала подносили, а потом кружился кто-нибудь один у столба, предохраняя их. Любила кататься на гигантах, носиться и кувыркаться в воздухе. Во мне развивалась ловкость. Иногда по праздникам приходившие из других деревень девки и парни в смазанных сапогах пробовали кататься на гигантах, на них страшно было смотреть, они так сильно отталкивались ногами от столба, а не от земли, что их

снова по прямой линии тянуло к столбу, а не по кругу. Или же, бегая кругом и поднимаясь в воздух, так махали сапожищами, что страшно было за лица бегущих за ними. Столб, как не был хорошо и глубоко вделан, все-таки раскачивался. А мы, привычные, носились легко, свободно и красив; а приехал из Вильно брат Александра Федоровича Иван Федорович, так ток как стал кататься, так и облевался. Иногда катали друг дружку, закидывая веревку за веревку. Никаких несчастий на гигантах у нас не случилось. А вот на простых качелях, которые у нас были устроены в городском нашем саду, брат Саня лет 8 – 10 чуть не убился. Он катался по переменкам с мальчиком Никифором, служившим у нас в конторе, соревновались, кто выше взлетит. Саня раскачивался выше перекладины, да и грохнулся о землю. Довел его кое-как Никифор до дивана в дедушкову комнату, где он и проспал сутки-двое подряд. Тем и кончилось, встал здоровым, никакого сотрясения мозга не получилось. Дедушка не давал его тревожить, сном-то, говорил, всякая болезнь проходит, а мама и не догадывалась, что так долго спит сынок.

Иногда меня с Катей отправляли погостить в село Палех к маминному отцу, к дедушке Александру и бабушке Ольге. Там также устроили качель. Я была тогда лет 6-ти. Горничная стала раскачивать стоявшую на качелях сестру, я стояла рядом, да и вздумала перебежать на другую сторону. Мне и поддало со всего маху качельной поперечной доской в голову, разбило сильно. Горничная перепугалась: «Не говори маме», я и не сказала, только через день, увидевши мои всклокоченные

волосы, мама и спросила: «Что это, Дуняша, у тебя волосы-то свалялись?». И ахнула, увидев запекшуюся кровь. С полгода болела у меня голова, иду по ровному месту – ничего, а как в лестницу поднимаюсь, так и голову в руки зажимаю от боли.

В Тарбаеве все-таки куда привольней нам было. Дедушка Александр был женат на второй; родная мать мамы умерла после уже четвертого ребенка от родильной горячки. Бабушка Ольга была не сердитая, но равнодушная к нам и мы к ней. У нее была своя дочка Маня, годов на 8 меня постарше. Пока живы были мамины дедушка Трифон и бабушка Марфа, которые и воспитывали маму, мне было теплее с ними. Запомнилось, как я сидела на коленках у дедушки Трифона на крыльце, встречала стадо, любила овечек, ягнят, кричала им: «барь, барь, барь» и кормила хлебом. Бабушка Марфа была моей крестной и меня баловала. Дедушка Александр Каравайнов другого типа: один сын у родителей он был избалован, у них были иконные мастерские, по делам приходилось бывать в Москве, и дедушка Александр любил сходить в кафе-шантан и похвастаться, как к нему там подсаживались певицы. Только многое у них было на словах, а не на деле. В французскую выставку он соблазнил дедушку Ивана побывать в Москве, а тот прихватил и меня с Катей. Ходили по выставке, катались на деревянных горах, потом дедушка Александр затащил дедушку Ивана в какой-то балаган, а нас оставили около, велели подождать, нам с Катей было тогда лет по 7 – 8, мы поглядывали в окна с часта вставленными ребром стеклянными полосками. Дедушка Иван

скоро выскочил оттуда и все плевался. Потом повели нас в гостиницу ужинать, накормили пирожными до тошноты. Я очень укружилась и мне так хотелось спать, что глаза мои слипались и я с трудом их таращила.

Характером дедушка Александр был тоже мягкий. Мне вспоминается, как мы ехали из Кинешмы на Катину свадьбу в Кострому целой компанией, муж тети Мани. Бобков, мастерски играл на баяне, дедушка Александр подвыпил. Он был среднего роста, с брюшком и подбритой бородкой, забрался он по лесенке на капитанский мостик, да оттуда и свалился в Волгу. Пароход дал тихий ход, публика сбежалась на палубу, вытащили его, голубчика, скоро. В сюртуке парадном, весь мокрый, вода с него льет, а он только охорашивается, чистит ладонями сюртук да повторяет: «Замарал, замарал, замарал!». А публика похохотала, так он был комичен. Ведь испугались за него, а он и страху не успел почувствовать.

В Шуе у нас был дом каменный, двухэтажный. В нижнем этаже помещалась лавка, контора, палатка, кухня и столовая, в верхнем этаже жилые комнаты. Хорошо было у мамочки в спальне. Перед широким, двойным окном, выходящим на площадь, стоял папочкин письменный стол, на нем бювар для бумаг, мраморный письменный прибор и будильник с чугунной фигурой казака на коне. Рядом мамина швейная машинка ножная. В углу божница с красивыми иконами, хорошей живописи, в золоченных ризах и без них. Перед ними часто горела красноватая лампадочка, сбоку стояло

зеркальное трюмо, против него комод, на нем свадебная шкатулка и барометр с чугунными фигурами лошадок. Сзади за ширмой – двуспальная кровать, кушетка и умывальник. За спальней дверь вела в детскую с окнами во двор. Зало было большое, круглое, на передней стене висели большие портреты государей Александра I и Александра II и маленький портрет Николая и Александры Федоровны, да побольше дедушки с бабушкой. На боковых стенах две громадные картины из библейской жизни: «Принесение Исаака в жертву» и «Обручение девы Марии Иосифу», на задней – «Князь Серебряный в гостях у боярина Морозова», «Петр Великий на Ладожском озере спасает погибающих». По стенам венские стулья, между ними два ломберных столика и один побольше для закуски. Дедушкина и наша девичья комнаты, обе с лежанками, выходили окнами во двор. Обстановка в них была самая простая.

По шестому году меня вместе с Катей стали учить грамоте, взяли приходящую учительницу, Ираиду Владимировну Цветкову, девушку лет 30, дочь священника. Чтение и арифметика давались мне легко. Всего труднее нам было выучить тропарь Крещению: «Во Иордане крещающемуся тебе, Господи», троическое явися поклонение и т.д. Слова мы с сестрой не понимали, зубрили, зубрили, никак не запоминалось и, дожидаясь прихода учительницы, твердили молитву, которой научила нас няня: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его, умягчи сердце рабы Ираиды».

На восьмом году я вместе с Катей поступила в подготовительный класс Шуйской женской гимназии. Была я робка, самолюбива, заботлива и с началом учения кончилось мое беззаботное детство. В первый же год я обогнала сестру Катю, перешла в другой класс, а она осталась, так мы и шли все время: я классом впереди. По арифметике нас учила Анна Васильевна Колуцкая, строгая, но справедливая и умеющая объяснить понятно. Я любила решать задачи, а они с каждым годом делались трудней для меня, ведь я была всех моложе в классе. Сначала мне некому было подсобрать в приготовлении уроков и приходилось добиваться самой решения задач. Потом, когда стал у нас жить двоюродный брат Миша, он мог помочь нам, но заставлял добиваться самой, без подсказывания, разве только немножечко на что-нибудь намекнет. Не раз поревешь в подушку пока не решишь трудную задачу. Миша давал задачи потруднее классных, математика тоже была его коньком. И стала я решать задачи здорово.

По русскому языку учительницы менялись, грамматика давалась мне тяжело, диктант я писала плоховато, но все лучше Кати, у ней он пестрел ошибками. Миша диктовал нам выдержки из любимых им авторов. Я чувствовала смысл, поэзию и красоту, а ошибок по рассеянности не замечала. У меня сохранилась фотографическая карточка: я и Катя сидим за столом и пишем под диктовку Миши, который стоит рядом, опершись книгой о стол. Русский язык я полюбила, когда с нами стал заниматься Владимир Фирстович Юшков. Мы с

ним разбирали литературные произведения. Читал он вслух замечательно. Особенно мне нравится в передаче «Полтава» Пушкина. Он научил нас понимать красоту слова и силу выражения. Даже прозу иногда хотелось заучить наизусть: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои и т.д.». Из «Тараса Бульбы» Гоголя приезд из бурсы сыновей и проводы. «Одна бедная мать не спала. «Сыны мои, сыны мои милые, что будет с вами, что ждет вас?», она глядела на них и все не могла наглядеться, она расчесывала их молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала их слезами». А «Казнь Остапа». Какие глубокие чувства пробуждались в нас при чтении Владимиром Фирстовичем литературы. И сам он увлекался, милый, седой, бородатый, представительный старик и часто его уроки захватывали перемены и ни он, ни мы не замечали этого. Был он в высшей степени добродушен, усаживался к нам на пустые парты, мы рисовали мелом крестики на его сюртуке, раз как-то одна шалунья волосы сзади ему подстригла. Был он полная противоположность другому учителю, Михаилу Васильевичу Сперанскому, с которым мы прошли больше классов. Многосемейный человек, забитый нуждой, в чирышках по бритому лицу. Михаил Васильевич, брызгая в нас слюной, читал сентиментально до смешного и портил красоту стихов. Он требовал от нас зубрежки. Хорошая память Владимиру Фирстовичу, это он научил нас любить русский язык, русскую литературу и наслаждаться ею всю жизнь.

Было у нас и по истории два учителяб Семен Иванович Жевнин и Алексей Левирьевич Прозоровский. Семен Иванович был специалист по древним языкам, которые он преподавал в мужской гимназии, и история была для него как побочный предмет, он не увлекался ею и нас не увлекал. А вот Алексей Левирьевич, глубоко понимая свой предмет, так захватил меня своим преподаванием, что бросила любимую математику и выбрала для 8-го класса специальностью историю. Стала я читать не только учебник, а и другое, что он рекомендовал. Уже причины, следствия событий, повод к ним, стали мне понятны и ясны (только хронологию я точно не знала). У меня явилась какая-то особенная привязанность к этому учителю и, помню, плакала, кончивши гимназию 16 лет именно по нему, любимые подруги оставались пока в Шуе. Алексей Левирьевич происходил из Вологодской губернии и говор у него был вологодский:; приземистый, смуглый, седоватый, с твердою походкой в сюртуке не первой свежести, он часто обкусывал свои ногти. Был он не счастлив в семейной жизни и в преподавание вносил любовь к предмету и к нам его ученицам, как мне казалось.

Был у него друг – учитель наш по чистописанию и рисованию, Иван Егорович Чернышев, и они жили вместе, на одной квартире, человек холостой, впоследствии преподававший со мной в воскресной школе. По геометрии был у нас в 5-м классе учителем Сергей Александрович Култашев с красивой, но немножко нахальной физиономией, дворянин, с тонкой талией и черными закругленными усами,

которые он часто поправлял, длинными розовыми ногтями. Предмет он знал хорошо, ставил мне одно пятерки, но я его не любила, а некоторые из учениц увлекались им. Потом был Семен Николаевич Любимов – этот не знал своего предмета, при решении задач часто путался. По закону Божьему сначала преподавал отец Евлампий, добрый к нам священник, а в старшем классе Павел Святозаров, кончивший, кажется, духовную академию и имевший свои печатные труды. Он был горд, сух с нами, пятерки ушли, остались четверки и тройки...

Самыми близкими подругами у меня были Оля Несмеянова – дочь священника, Маня Прокофьева – дочь вдовы, варившей варенье для магазинов, Толчавская Анюта, самая богатая подруга. А сначала дочь дьячка, Настя Любчик, я с ней сидела на одной парте, только она отстала от меня скоро и училась с Катей. Родители (у которых была большая семья) поторопились выдать ее замуж тоже за дьячка или сельского дьякона и мы собирали ей приданое с Катей и ее подругами. Она в первую ночь бежала от своего мужа, вернули ее, а потом свыклась с ним и имела от него человек 8 детей. У Кати были подруги: Маня Листратова, единственная дочь богатого купца, Леля Сперанская, дочь учителя, Анюта Беляева, дочь сельского священника, Вера Беседина, одна из трех дочерей небогатой вдовы и дочь директора мужской гимназии Симарская. Маня Листратова через нее и ее брата достали темы для сочинения на экзамен в 7-м классе. Сказали и Кате. Я ей помогла писать. Меня волновало то, что другие не будут знать тем и я, потихоньку от Кати и папы с мамой,

побежала к Верочке Бесединой и передала ей, а та всему классу. Уж и наволновалась же я. Тайну сохранили и Катя с Маней не догадались. Моей самой любимой подругой была Оля Несмеянова; с ней в перемены часто мы сидели на окошке в коридоре и мечтали идти в учительницы в деревню: «сеять разумное, доброе, вечное». У Оли были родные и двоюродные братья и сестры, у них товарищи, и знакомства с гимназистами завязались. Образовался кружок молодежи, задавшийся целью самообразования, воздержания от пьянства, курения, даже и неплохих удовольствий. Перед тем часть гимназистов начала вести жизнь неважную и один даже ослеп, захворавши, это его отрезвило. Собираться стали у Несмеяновых, отец у них был вдовый и дома бывал редко. Здесь читали мы запрещенные книги: Чернышевского «Что делать?», Добролюбова, Писарева и др. Иногда развлекались игрой в почту, пением. Я терялась еще в обществе мужской молодежи. Мне нравился тогда Андрюша Виноградов, двоюродный брат Оли, и я ему. Но он был с нами недолго, на лето поехал в Киржач, на свою родину, и, окончивши в Москве университет, женился и стал серьезным научным работником где-то на Урале. В мужскую гимназию мы ходили в физический кабинет для наглядного обучения. Стояли там на уединяющей скамейке и волосы у нас поднимались дыбом во все стороны. Прodelывали разные опыты. Раз ходили в мужскую гимназию на музыкально-вокальный вечер. Были гимназисты много постарше нас с очень хорошими голосами. И хор пел замечательно русские и малороссийские песни.

Соло в хоре исполнял Урвачев. Были и басы сильные. Помнится, как пели: «по синему морю вдаль до...», «Виют ветры, виют буйные» и «Ревет и стонет Днепр широкий». В дом подружки к нам ходили часто, но мужскую молодежь приглашать у нас не было принято. Раз только, уж спустя долго по выходе из гимназии, папа попенял мне, что я не пригласила фабричного инспектора, с которым познакомилась у Несмеяновых и он занес мне для чтения книгу «Человек, который смеется». Позвонил в парадное, книжку я взяла, а в дом не пригласила... Робка я была тогда. Фабричный инспектор был вдовец, у него остался после смерти жены маленький мальчик. Катя ходила к своим подругам, больше к Анюте Беляевой, сестре инспектора Городского училища, при котором был прекрасный тенистый сад. И я с ней ходила туда готовиться к экзаменам в хорошую погоду в саду, а в ненастную в классах. Анюта и Густя Толчевские учились в Московской гимназии и только святки до лета проводили в Шуе, дом их был рядом с Несмеяновыми и они знакомы были с детства. Красивые развитые, музыкальные, они выделялись среди нас.

Кончились учебные годы и попала я сразу за кассу в лавку. Папа все прихварывал и целые дни просиживала там, торговля была с 7 до 9 вечера. В воскресенье с 12 до 4. Кассировать я уже привыкла, еще учась, понемногу заменяя папочку в лавке. Большое спасибо дедушке Ивану: уже плохо видевший, зябший от старости, в беличьем халате даже летом, выходил он, покряхтывая, и сменял меня по вечерам, говоря:

«Пойди, Авдотья, погуляй». Лавка была завалена мешками с пшеничной и ржаной мукой, пшеном, крупой, солодом, сахарным песком. Пшеничная мука была вся в клеймах по сортам: 1-я голубая, 1-я красная, 2-я голубая 2-я красная, 3-я голубая. 3-я красная и 4-й сорт. Миткалевые пудовички лежали стопками, как и большие 5 пуд.мешки пшеничной и 4 пуд. ржаной. В ларях в несколько отделений была пшеничная мука от 6 коп.до 3 коп. за фунт. Ржаная в отдельном сусеке от 80 коп. до 90 коп. за пуд. крупа ядрица 4 коп., пшено 4 ½ коп.за фунт, а похуже и 3 коп. были разные фирмы пшеничной муки: Соколова, Бугрова, Башкирова, Шихобалова, Стерлядкина. Соколова Самарская ценилась выше всех. В самарской губернии были лучшие сорта пшеницы. Белый хлеб выходил даже из 2-й красной, как папушник и долго не черствел. Стерлядкина из Сызрани была всех подешевле, но тоже не плоха. Кому что требовалось. Очень ходовые были муки от Бугрова Якова и Матвея Башкирова из Нижнего. Снижение качества сортов роняло фирму и не допускалось. Были социально крендельные муки. Цены у солидных фирм для розницы были без запроса. При порче муки, окислении, пускали ее дешевле; стоившую 1р.80к. пускали по 1р.40к. и за ней случались очереди. Впоследствии и ржаные муки пошли с клеймами.

В лавке было сыровато, пыльно и суетно. Я не только подсчитывала на счетах за проданный приказчиками товар, но и выдавала развешенный сахар, чай, дрожжи. Касс-машин тогда н было. Розница у нас была большая, народу набивалось

много, приходилось следить, чтобы не ушли без расчета. С крупными покупателями занимался папа в конторе. Трудно было по базарным и в воскресные дни, перед праздниками, масленицей, после дачек фабричных. С приказчиками жила я дружно, на одной ноге была я с ними, также робела папочки, баловалась с ними чайком и черным хлебом с маслом льняным, бак с которым стоял в лавке и пополнялся из бочек, хранившихся в подвале. Из приказчиков ко мне был как-то ближе всех Иван Трифионович Лапцов из деревни, из Столбцов, крепкий, с кудрями в скобочку, мужик лет 45, давно служивший у нас. Он научил меня считать на счетах (ведь в гимназии этому не учили), накидывать 1 руб. без четверти, 2 без четверти, 3 без четверти и т.д. до 10 без четверти, скидывать обратно. Бывало, он не позволит парням при мне ругаться, мигом выставит из лавки. Папа смеялся: «Он за тебя, Дуня, готов в огонь и в воду, как, бывало, за меня Филипповна». Еще служил у нас мальчик лет 14 – 15, Никифор Игошин, он находился то в конторе, то в лавке, умный, дотошный паренек, знающий по делу иногда больше старших приказчиков, так как он был около папы и главного бухгалтера. Я часто обращалась к нему по поводу цен... Иван Трифионович боялся ружей, пистолетов и привидений. Его пугал простой металлический пульверизатор для духов и мы подшучивали над ним. Никифор иногда доходил в шутках до жестокости. Он рядился в белую простыню, являлся ночью в людскую или подвешивал чучела под навесом на дворе. Иван Трифионович раз чуть было не убил его за это поленом, да

ловок был шельмец, увернулся. Сердца-то у Ивана Трифоновича хватало не надолго. Ссоры были временные. В общем, жили дружно. Иван Трифонович любил покалякать с деревенскими, удружить им, перебить от других покупателя на мешок, на два.

Бабы, прежде чем купить муку. Брала ее немного на ладонь, слюнявили, катали комочки и жевали. Были постоянные покупатели, к которым мы привыкли. Помню одного, небольшого роста, живого мужичка, обращавшегося ко мне со словами: «Ах ты, сорок тысяч миллионный разум, дай-ка мне сахарку 2 фунта, да чай четверку!», побегает по лавке, наберет товару и опять ко мне: «Получи сорок тысяч миллионный разум». Эти слова вошли у него в поговорку и мы так и прозвали его «сорок тысяч миллионный разум». Смешил он нас. У другого мужичка была поговорка: «Тетка твоя подкурятина», этот являлся всегда со своей усмехающейся бабой, пьяненький, добродушный, он бы без нее все растерял и она ходила за ним, как за малым ребенком. Многие звали меня Дуняшей. Городские покупатели были культурнее, только все как-то на один образец. Иван Трифонович всегда прятался за мешки, как увидит, что к нам в лавку идет барыня, не любил с ними заниматься, да и я тоже. «Возьмет-то на грош, а настрекочет...» и рукой махнет. С барынями занимался другой приказчик с некоторым лоском, угодливый и пофрантоватый. А Иван Трифонович был всегда в фартуке настолько промасленном, что он казался кожаным. Из городских покупателей попадались жулики: вспоминаю

кривую, скорее, косую бабу, которая всегда старалась обмануть. В сильно торговые дни, когда в лавке становилось тесно и около кассы тоже являлись неприятные лживые люди. Они были крикливы, а робка, молода. Нервы-то и взвинчивались. Придёшь после таких дней домой и поревешь украдкой. А считала я ловко. Зимой озябала шибко, двери в лавку не закрывались, касса была у самой двери, чтобы не уходили без расчета, в ноги дуло, пальцы и на руках коченели и с трудом подбирали мелкое серебро и медь с прилавка. Дедушка, когда поменьше народу, любил посидеть в лавке. Служащие нисколько его не боялись. Самое большее, если он рассердится, то скажет: «А нехай его всячина». Садился он обыкновенно на стеле рядом с мешком с зернами и частенько давал их по горсточке маленьким ребятам, приходившим к нам чаще вечерами с бутылками за льняным маслом по 10 коп. за фунт. Утром, опирая лавку, выносили большой совок пшена и рассыпали его перед лавкой для голубей. Поэтому на нашем дворе их всегда было много, воркования, воркования было по весне. На мешках валялись связки толстых баранок, которые мы подавали просящим. За ними приходили. Так называемые, «коты», пропившиеся золоторотцы, которым деньгами подвали разве только после усиленных просьб опохмелиться, да и то немногим знакомым уже. Между ними был один разорившийся Шуйский торговец, знакомый папе, и к золоторотцам относился папа мягко и когда свободно разговаривал с ними. Захаживали и политические или притворявшиеся ими, умеющие поговорить. Мне хотелось

подать им побольше, а взять из кассы больше двугривенного боялась и, подавая серебряный рубль, возвращала его из своей копилки.

Мне жалование не выдавалось за кассирование. Только при подсчете выручки, если попадался случайно старинный рубль, папочка отдавал его мне; давали понемногу денег на именины, святки, ярмарку, на большие праздники всем детям. Самой большой наградой за сиденье в лавке было обещание папы свозить в Москву и он его исполнял; раз в год маму, Катю и меня брал с собой в Москву. Только тогда, когда вагон тронется и поверишь, что едем, а то все боишься, что не исполнит заветное желание. Впоследствии нас папа стал пускать с мамой одних. Не забыть мне первое впечатление от Большого театра. Попали мы на «Демона» в исполнении Хохлова – чудная декорация, совсем забывалась действительность, сидела я, как зачарованная, вся отдавалась чувству, пробужденному великим артистом. Пришедши из театра, всю ночь проворочалась с боку на бок, не заснув, перебирая в уме и перечувствуя все виденное. «Она любила и страдала, и рай открылся для любви». В одну из поездок без папы мы ходили на оперетку, это нас сводил туда Миша, бывший тогда в Москве студентом. От нее осталась в памяти только красота главной артистки, да смешная пара, поющая дуэт: «на мандолине в нежном тоне я буду петь Вам о любви» (с косичкой старая некрасивая барышня) – «А я Вам на тромбоне все чувства выражу свои,» - ответил ей басом кавалер. И сейчас еще станет смешно и весело, как вспомню.

Очень понравилась нам сказка «О царе Салтане и сыне его Гвидоне, и царевне Лебеди». Я насилу утащила мамочку в театр, ей хотелось спать, а тут и весь сон прошел, мамочка ожила и все говорила потом, вспоминая: «а я еще не хотела идти». В Москве мы делали кое-какие покупки для себя и домашних, только мы часто ошибались, покупая не то; не очень нравится, а берем, не смеем отказаться, если нам долго показывали и нахваливали; а приказчики, видя провинциалов, сваливали, что похуже. С папочкой мы были смелей и денег он мог расходовать, не труся никого, и вкусу у него было больше, чем у мамы. Всей семье и прислуге привозили мы подарки, так что поездка в Москву для всех была радостью.

Однажды мы ездили с папой в Нижний Новгород на выставку: мама, Катя, я и братья. Мне было, наверное, лет 13. Поразил меня Нижний Новгород своей красотой, когда ранним утром подъезжали к нему на пароходе и стояли на палубе, а он высился перед нами в легком тумане, словно сказочный: поблескивали главы церквей, высились громадные дома и зубчатые стены, и сады, и зеленые горы, а река кругом блестела от солнечных лучей, переливалась. Масса судов скапливалась, трудно было пробираться между ними... папе, как крупному покупателю, особенно находящемуся в хороших отношениях с Бугровым, дали хорошее помещение у него в номерах на набережной, бесплатно большую комнату с балконом, с громадными окнами, на подоконниках которых мы сидели и любовались на открывавшийся перед нами вид... оживление на Оке и Волге было тогда очень большое и суда

сновали взад и вперед. А на выставке было столько впечатлений, что мы устали ходить по ней, а маленький брат Леня даже захворал, у него поднялся сильный жар и бред, мы перепугались, но прошло скоро, проспался и выздоровел. Зашел к нам в номер Асонов, доверенный Бугрова, представительный, красивый с длинной окладистой рыжеватой бородой, в длиннополой поддевке. Он принес нам большую коробку открывных конфет, уж и порадовались мы им и полакомились вволю. Пробыли в Нижнем с неделю. С тех пор я стала любить Нижний Новгород и мечтать выйти туда замуж.

В деревню летом по окончании гимназии я стала ездить на короткое время, когда у крестьян начиналась страдная пора и торговля в городе затихала. Друзья мои там тоже подросли из девочек стали девки, из мальчиков парни. С девками мы по-прежнему были дружны, а от парней стали отделяться. Сын деревенского старосты, Ванька Рыжий (Чуркин), поработав зимой в Питере, явился в деревню уже не таким, как был раньше, становился иногда нахальным и начинал уже пугать меня своим ухаживанием. Саньки Кулика (настоящая фамилия Суворов) не было уже в деревне, он тоже работал где-то в Питере на заводе и впоследствии я услышала, что он умер там от чахотки. Деревенская молодежь в праздники уходила гулять на «Перюшину гору», в ельник, где сходились несколько деревень. Мы смотрели иногда, как они водят с песнями хороводы или чинного прогуливаются, парни с гармошками отдельно. Девки гуляли и сорокалетние,

замужние только молодые. В Николин день наш деревенский праздник, мужики напивались, гостились и горланили песни всю ночь.

У нас образовалась своя компания: Мухины да мы. Приезжал еще Миша с сестрой. В самую большую жару забирались в прохладную палатку и играли там в винт, которому научил нас Миша. Утром рано, еще по росе, ходили за грибами, ягодами. Вечером случалось долго засиживаться за чаем в Мухинском саду в альжанке или беседке. Иногда гуляли за деревней в поле или в сосновом бору. Это не в Шуе где нас держали очень строго и не разрешали гулять в общественном саде дольше 10 часов. Здесь мы не ложились спать до петухов, а случалось, и до пастухов, любили послушать, как они играли. К Мухиным приезжали ненадолго братья из Вильно, барышни Хамины из соседней деревни. Два лета приезжал Василий Ефимович Севрюгов, жених Марии Федоровны Мухиной, думавший поправить свои расстроенные дела женитьбой на ней. Очень хорошо он пел: «белый день занялся над столицей, сладко спит молодая жена, только труженик, муж бледнолицый. – он не спит и ему не до сна», и т.д. Свадьба у них расстроилась. Расскажу случай из жизни в Тарбаеве. Собрались на Тезу, протекавшую от деревни верстах в 3 ½. Отправились на двух линейках с папой во главе с закуской и чаем. Расположились на бережку у небольшого заливчика. Папа стал подзадоривать Мишу с Александром Федоровичем перепрыгнуть через заливчик. Миша разбежался, перепрыгнул; Александр Федорович

подбежит, присядет и оробеет – он был грузный, стали смеяться над ним. В четвертый раз он решился наконец, да и попал в воду и распластался, насилу, насилу выкарабкался, цепляясь руками за берег. С приключениями ездили мы и на озеро Горшково, верстах в двух от Тарбаева. У Мухина была старенькая лошадь Чалко и такой же старенький кучер Степаныч; запрягли ее в телегу, поставили самовар, положили провизию, одежонку, а сами пошли пешком, а они потащились сзади. Дорога шла через торфяное болото. Мы, старшие, далеко опередили младших ребятков. Озеро Горшково глубокое, кругом его лес, говорили, что тут когда-то провалилось целое селение. Добрались, кто стал собирать хворост для теплины и сосновые шишки для самовара, кто ягоды, а Александр Федорович поехал кататься на плоту. Вдруг бегут ребяташки с криком и плачем: «Чалко, завяз, тонет, скорей, скорей, помогите вытащить!» Миша Бросился бежать моментально, а Александр Федорович поторопился, да и упал с плота, одна нога его попала между бревен, зацепилась за плот, а мы кричим: скорей, скорей, а что уже там, сам-то чуть не потонул. Вылез весь мокрый, сконфуженный, за кустами снимал все с себя да сушил. Чалко вытащили.

Миша и я тоже любили покататься на плоту, я у берега, а он заплывал на середину. Плыл стоя, держа в руках шест, гребя то одним, то другим концом его. Нужно было соблюдать равновесие, плоты были маленькие. Иногда Миша ставил пенек на середину плота и усаживался с удочкой. Я любила на бережку зарисовывать карандашом окружающее. Мы ходили

на озеро иногда с Мишей одни. Там было дико, только утки иногда прилетали и плескались, и ныряли у берега. Я любила Мишу, часто между нами были душевные разговоры. Он учился на юридическом факультете, я думала, что из него выйдет замечательный адвокат. Он как-то во всех умел найти хорошее, даже в тех, которых никто не любил, умел защитить. Он говорил, что я похожа на Наташу из «Войны и мира» Толстого и часто звал меня Наташей и день Ангела моего праздновал в Наташин день, и подарил мне круглую лакированную черную коробочку, красную изнутри, с тройкой на крышке. Я в нее убирала катушки, пуговицы, наперстки. Долго она у меня служила, только уж когда дочь моя Люба вышла замуж, я отдала коробочку ей. Миша разговаривал с папой на политические темы, спорили часто друг с другом, а я прислушивалась. Кончивши университет, ему неловко стало жить на средства папы, а чтобы адвокатурой зарабатывать деньги, надо было еще сначала послужить бесплатно у известных опытных адвокатов, чтобы получить практику. И вот он поступил в акцизные, думая побыть тут временно, оно застрял, женился, и мечты об адвокатуре кончились. С женой его я так и осталась незнакомой, жили они в Ардатове. Детей у них н было. Я думаю оттого, что он не мог допустить страданий при родах для своей жены. Раз, когда в круглой Шуйской зале завязывали руки назад, ловили мы друг дружку, я раскроила себе висок об лежанку; крови было много, пришлось рану зашивать, я и не пикнула, а с ним сделалось дурно. А когда у него подохла любимая собачка сеттер, он

было чуть с ума не сошел, так мне передавали. Очень он был сердечный, но порой и вспыльчивый. Раз он вытолкнул и спустил с лестницы своего отца, человека богатырского сложения, когда он, пьяный, привел к матери распутную женщину. Во время немецкой войны Миша работал в Красном кресте, на последние письма мои я не получила уж ответа и потеряла его из вида.

В Шую и в Тарбаево приезжал к нам ненадолго мамин брат, для нас дядя Паня, годов на 12 меня старше, холостой еще тогда, когда мне было 16 – 17 лет. Родители предлагали ему богатых красивых невест, которые охотно пошли бы за него, но он отказывался. Среднего роста, довольно красивый, он всегда ходил в кожанке, даже зимой, обливался по утрам холодной водой прямо из ведра, полотенца у него были рваные. Мама все сетовала: «Не полотенца, а тряпки». Он ведь был богатый, к себе очень скупой, а к людям добрый. Дедушка Александр, мамин папа, отправил его от мачехи еще молоденьким в Петербург, давши ему в собственность лавку с произведениями своих иконных мастерских, а потом дядя Паня развил торговлю серебряными красносельскими изделиями. В Петрограде он сошелся с бедной девушкой из пригородной деревни, служившей компаньонкой у какой-то барыни в городе. Сначала жил с ней так, а когда она забеременела, женился на ней, хотя уже был ею не увлечен. Он вызвал маму и меня в Москву, туда же приехала и невеста, одна, без родных; красивой она не была. Кабы, говорит, она грозила мне, что покончит с собой, ни за что бы не женился, а

так не могу ее бросить. «Вот такую бы мне невесту, как ты» — говорил он мне тогда. Он пожил с ней до самой смерти, хотя разница в положении и развитии сказывалась все время. Бегая с ним по Москве, я чуть было не погибла, попав под несущуюся пару в дышлах, только он силой выхватил меня из-под самых морд, взяв за руку повыше локтя и поставив на тротуар. Это было на углу Кузнецкого.

В год окончания гимназии мы провели почти все лето в Шуе. Весной компанией ходили к селу Малиничному, в лес за ландышами, а по вечерам летом катались на лодке по реке Тезе, выходили на берег возле деревни Степаново и там располагались пикником. Андрюши Виноградова уже не было с нами, он уехал на родину. Кроме подруг был старший брат Оли, высокий, худой, которого мы звали Васляй Васляин, двоюродный брат Мани Прокофьевой, красивый Володя Молчанов, Миша Бальмонт и Саша Серебрянников. Я в то время интересовалась Мишей Бальмонтом, широкоплечий, смелый, с каким-то особенным грудным смехом, с прекрасным голосом и умением петь, он, спускаясь к нам в лодку по обрыву из своего сада, казался мне похожим на Марка Волохова из «Обрыва» Гончарова. По вечерам, когда затихала дневная суeta, я садилась на подоконник открытого окна в своей комнате и слушала доносившееся к нам из сада Бальмонта пение. Любили мы втроем, Оля, Миша и я, побродить по общественному саду или напрямик по полю за городом. А папа косо смотрел, когда в моей комнате был Бальмонт, он догадывался о моем увлечении. Я наверху

заборов в саду вырезала ножичком его инициалы. Миша был один из 5-ти сыновей председателя Шуйской управы. Мать его была здоровая, грубая бой-баба, по выражению папы, а отцу его нельзя было мешка ржаной муки доверить в долг. У папы была своя купеческая гордость. Саша Серебренников, сын хлебного торговца, бывшего друга папы, недавно умершего, не производи на меня впечатление, щупленький такой и серьезный, он заходил к нам в лавку поговорить с папой и со мной. Отец его как-то мне в Новый год написал стихотворение на память. Мать Саши, красивая еще вдова, ходила посовещаться к папе насчет дел. Я ревновала папочку за маму, хотя между ними не было ничего и похожего на симпатию. Мамочка простая, с разносившимся от постоянной беременности брюшком (тогда ведь е бинтовали), а Серебренникова ходила в корсете, была стройная. Саша учился на медицинском и мне хотелось, но я мечтать несмела. Были у него две сестры, старше его, с одной из них, Татьяной Михайловной, мы открывали впоследствии воскресную школу, я была ее помощницей.

В компанию к нам скоро присоединились Анюта и Густя Толчевские и Мише Бальмонту стала нравиться Густя, красивая белокурая девушка с карими глазами, стройная, небольшого роста, хорошо и со вкусом всегда одетая. А я в своих тяжелых башмаках (мама заботилась больше о прочности) и в ситцевых или даже шерстяных платьях, но сшитых у неважных портных, бала не изящна. Помню, мама купила нам с Катей корсеты (тогда они в моде были), словом,

нам не по фигуре, большого размера, и когда я пришла в нем к Несмеяновым, где встретила с Бальмонтом, он посмеялся и положил мне на грудь за корсет яблоко. О Толчевских заботилась старшая сестра, которая была замужем за Шуйским фабрикантом Терентьевым, шили они платья у лучших портных в Москве. Глядя на них, я стала больше понимать в нарядах. Я была в то время здоровенькая, стройная и без корсета, с шелковистыми темно-русскими косами ниже пояса, с полудетскими чертами лица. Полными губками и лбом, похожим, по словам Миши Симанина, на весеннее майское утро. И я могла нравиться, но уже поняла с болью в сердце, глядя на Мишу Бальмонта с Густей, что она превосходила меня во всем, она и на рояле играла хорошо, а у меня и слуха не было. В нашем доме не появлялось никаких музыкальных инструментов.

С сестрой Катей мы жили очень дружно. Она была немного выше меня, с большими прекрасными глазами и нежным розовым цветом лица; жиденькую светло-русую косичку ее мы называли крысиным хвостиком. На люди она ходила с прической. Характеры у нас были разные. Я более скрытная, а у нее был открытый, веселый характер, она часто повторяла: «Жил-был мудрей великий, говорил «На все наплевать!»». Читала она мало, любила помодничать, то ходит растрепкой, то разоденется, по-нашему, расфуфырится и я с братом Мишей дразнили ее баронессой фон-Трухой. Только с важного тона она скоро сбивалась. Любила Катя поспать вволюшку. Раз в воскресенье, кончили уже мы утренний чай и

съели пирожки, а Катеринушка все нейдет. Пошли ее будить: постель пустая, разве к обедне ушла. Но вот и кучер приехал, привез дедушку, говорит, никого уже в церкви не осталось. «Где же она?» стала горничная подметать в комнате, глядь, Катеринушка под кроватью спит. Упала ночью с кровати, подняться-то лень, во сне и подкатилась под нее.

А я, по выражению мамы, то сижу, как в воду опущенная. Забившись в уголок, тише воды, ниже травы, то разыграюсь, развеселюсь, так, что мамочка скажет: «Уж ты опять до чего-нибудь доиграешься, Дуняша». Катя кончила семь классов, а я и восьмой педагогический.

Прошло лето, по окончании гимназии подруги и товарищи разъезжались. Оля поступила в учительницы в деревню Пелчусово, недалеко от Иваново. А товарищи уехали в Москву учиться в университете. Папа стал хворать желудком, у него иногда поднималась рвота. Катя помогала маме по хозяйству, а я засела в лавке. И так потекли зимы одна за другой с редкими удовольствиями. Катались мы с Катей на городских санках. Был у нас жеребец, серый в яблоках. «Статный», лучший в городе. Тогда по праздникам были большие катания по кругу, по четырем улицам на тройках, парах и одиночках. Иногда соревновались с Бальмонтовским иноходцем, вот тоже была лошадка, маленькая, да удаленькая, Мишин брат на беговых санках один ездил. Кучером у нас был сначала старичок Тихоныч, у него Статный не сбивался с шагу, никогда не шел галопом, когда уж он не в силах был сдержать Статного перед поворотом, он сворачивал в сугробы,

приговаривая: «Ну, пошла дуром» и неслись уже напрямик, пока Статный не успокаивался. Потом был кучер Андрей, помоложе, он не умел править и злил лошадь, раз мы чуть с ним не задавили пьяного мужика, перебежавшего нам дорогу. Только Статный как-то перепрыгнул через него и он очутился между санками и Статным, который встал весь дрожа, как вкопанный; мужик отделался пустяками. Уж и любила я Статного, бывало проводит его перед лавкой кучер после катания, издалека отпустит его ко мне, я уже поджидаю его с кусочком сахара на ладони. Как он осторожно брал сахар одними мягкими теплыми губами, а я гладила его морду и расчесывала гриву. Когда мимо лавки Толчевская Густя проезжала амазонкой, как мне хотелось тоже поездить верхом, но верховых лошадей у нас н было. Катанью на велосипеде я никогда не завидовала, разве можно сравнить живое любимое существо с велосипедом, да и некрасиво казалось мне вертеть ногами девушке.

Была еще у меня любимая охотничья собака «Раган», жила она днем в дворницкой, а ночью выпускали ее во двор. Когда я уходила в гимназию, а потом в воскресную школу и она вырывалась из дворницкой спустя уже порядочно времени, она бежала по моим следам и всегда меня находила. Ходили мы изредка к Мане Прокофьевой, мама ее была очень гостеприимна, и к Серебрянниковым. Кино еще тогда н было. На святках устраивалась елка в клубе, спектакли и танцевальные вечера. Редкое посещение клуба нам доставляло большое удовольствие. На танцевальных вечерах я за свою

молодость была раза 2 – 3 всего. Танцевать я была не мастерица, знала только вальс, кадрили да польку, а в то время входили в моду новые танцы: па-де катр, па-де патинер, миньон и др. Мы только любовались на Толчевских, очень красиво их танцующих. Знающих эти танцы было немного. Когда меня пригласил на вальс и вытащил из толпы брат Миши Бальмонта Аркадий, женатый, толстенный, неловкий танцор, для меня это было целым событием. Наши товарищи в клубе не танцевали, только иногда в городском саду, в ротонде, там было проще и потесней.

Катя через сваху вышла скоро замуж в Кострому, за Александра Сергеевича Касаткина, у них был магазин готового платья на Гусиной улице. Александр Сергеевич был закройщиком и учился некоторое время в Париже. Татьяна Михайловна Серебрянникова задумала открыть в Шуе бесплатную воскресную школу, я горячо ей в этом сочувствовала и стала ее первой помощницей. Иван Егорович Чернышев выразил желание преподавать в ней; отец Петр, наш духовник, и впоследствии Густя Толчевская занимались недолго. Помещение нам отвели в училище, материально поддерживал фабрикант Михаил Васильевич Рубачев, одинокий, холостой, дальний родственник Толчевских. Как нужда случится, у нему обращались. Посмеивались надо мной, что мне стоит только попросить его, он и раскошелится. Человек он был развитой, побывавший за границей. Любил подойти ко мне в клубе, посидеть со мной и рассказать о своих путешествиях. Наружностью он очень походил на

Гончарова. Мама один раз спросила меня: «А что, Дуня, пошла бы ты за Михаила Васильевича, если бы он сделал тебе предложение, много бы добра могла сделать...» – «Нет, мамочка. Не пошла бы».

В школе у меня была группа безграмотных взрослых или знающих очень немного, выучивались довольно быстро. На Рождество устраивали литературный вечер, с угощением, и я на нем выступала с чтением стихов. Перед Рождеством с сестрами мы готовили подарки для Торбаевских ребятишек, которых знали всех наперечет, шили разноцветные мешочки и наполняли их сладостями. Бабам посылали мешок зерен. Своих малышей папа записывал на клубную елку. Игрушки доставались иногда ценные. Городской голова Щеколдин добавлял к стоимости билетов свои средства.

Устраивали и свою домашнюю елку. Иногда у мамы с папой собирались знакомые, пили чай, в лазе приготавливали стол с выпивкой и закуской; играли в преферанс и стукалку, пели песни. У мамы был хороший голос; любила она петь народные песни: «Хорошо было детинушке сыпать ласковы слова», «Догорай моя лучина», «Ни кола, ни двора, зипун весь пожиток», «Ах вы сени, мои сени» и прочие.

Сестры мои, Маня и Люба, кончили гимназию много спустя нас, они сначала учились в городском и поступили позднее. За сестрами шли братья: Ваня, Саня и Леня. Старший, Ваня, вымоленный у Бога (родились все девочки), рос слабым, золотушным ребенком, думали, не выживет. Горя с ним мамочка хватила много. Выжить-то он выжил, но

остался глуховатым и говорил не очень чисто; высокий вытянулся, худой и некрасивый, мало он был похож на нас. А мама души в нем не чаяла. Несчастный ребенок еще дороже сердцу матери. Подрос он, сдружился с соседними мальчишками, тоже горе приносившими своим родителям, кое-что от них перенял, стал брать тихонько недозволенное, папа стал наказывать, мама укрывать; мы, дети, принимались стыдить. Он начал озлобляться драться. Сила не брала, так чем попало норовил пнуть. Что-нибудь набедит, папа маме скажет: «Вот ты его избаловала», а и так уж горько. Следующие два мальчика, Саня и Леня, росли крепкими, красивыми и здоровыми. У папы сердцу больно делалось, когда он останавливал свой взгляд на Ване, а мама не замечала его недостатков. Начнут братья играть вместе, что-нибудь не поладят, раздерутся: Саня силой возьмет, Ленюшка – зубами вцепится, а Ваня пунет чем попало. Но вот друзья его отчаянные переехали на другую квартиру и он остался только с братьями и сестрами, то-ли он больше стал, он исправился. Да и Бога побаивался, самой большой угрозой было: «Смотри, Ваня, Бог накажет, Он все видит». Вырос, стал смирным, честным парнем. Леню и следующую сестру Анюту я сама подготавливала в гимназию и сейчас передо мной Лёнина милая рожица с уже частью выпавшими молочными зубами, между которыми проскальзывает язычок.

Дедушка, а потом папа, были старостами в соборе, они обновили и расширили большей частью на жертвование средства. Простой народ шел туда и с радостью, и с горем.

Свою глубокую веру в Бога они привили и нам. В соборе была чудотворная икона Шуйской Смоленской Божьей матери. В праздник ее 28 июля был громадный крестный ход. Издалека на него собирались богомольцы. За день до праздника у нас дом, сараи, сеновал, людская и баня наполнялись народом, пришедшим пешком на праздник. Часто верст за 40 и больше. Три дня была ярмарка в городе. Только на богомолье и можно было вырваться бабам. В строгих семьях жили. Путешествие в город освобождало на время от суеты повседневной, встряхивало их, давала новые впечатления, сталкивало с новым людьми. Попутно с душевными запросами они удовлетворяли и материальные нужды. Папочка был видным гласным в городе. Придет иногда с собрания, взволнованный, скажет: «Опять себе врагов нажил». А мамочка ответит: «А ты бы «моя изба с краю, ничего не знаю», и не было бы неприятностей». «Это по-твоему так, а я должен защищать городские интересы». Годы шли, кончила гимназию и Маня и иногда стала сменять меня в лавке, мне уже минуло 20 лет, Катя в это время уже хорошо жила со своим Александрюшком. Я уже стала на положении невесты, появились женихи. Потребность в друге была сильная. Я любила детей и е могла равнодушно пройти мимо чужих, захотелось иметь своих, и я стала не противиться знакомству с женихами. Вот кто н побоится покатить меня на беговых санках на Статном, за того и пойду, шутила я. Вышла я все-таки не через сваху.

По хлебной торговле были у папы знакомые «бр. Шемякины» из Кинешмы – 4 холостяка. Третий, Василий

Иванович, задумал жениться и приехал со старшим братом, Иваном Ивановичем, познакомиться со мной и с дочерью трактирщика Малуниной, красивой девушкой, которую рекомендовал ему дядя по матери, живущий в Шуе. Первое впечатление от него было: «серьезный, не франт пустой, послуживший в солдатах, поездивший по Руси, простой, молчаливый, более слушающий других и наблюдающий». Он не показался мне красивым, но здоровым, сильным и симпатичным. Я ему понравилась больше других невест, посещения повторились, мы стали становиться ближе друг к другу. Он оказался, между прочим, и любителем лошадей и на Статном меня покатал на беговых санках, на меня, может глупо, но действовало это. Сватал меня жених из Мурома, красивый, статный парень, но с темными от табаку зубами и табачным запахом изо рта, мне он был неприятен физически. Был и в Шуе один хлебный торговец, который сватался ко мне, но не нравился. Мама стала подзадоривать насчет Шемякина: «Не больно зазнавайся, не мало невест-то, может, другие понравятся и не приедет больше». Я уже стала его поджидать. После четырех посещений он мне сделал предложение, пригласили папу с мамой посмотреть дом, как это прежде было принято. Папе с мамой понравилось в Кинешме и дело сделалось. Помолились Богу, устроили вечер, на который приехали и его родные, были мои подруги: Прокофьева, Толчевские, Саша Серебрянников и наши родственники. Затем Василий Иванович уехал на покупку хлеба в Самарскую губернию, на юг, кажется. Братья

торговали в Кинешме, а его главным делом было закупать товар. Чуть было он не погиб в степи, попали с извозчиком в сильную метель и заблудились. От этого времени у меня сохранилось несколько писем, они лучше расскажут о моем тогдашнем настроении. Вот они.

«Дорогой Василий, уж как я рада, что получила хорошее письмо от тебя. Часа полтора прошло, как получила, а и теперь еще сердце бьется, а сама так и расплываюсь улыбкой. Правда, я даже и не думала, что так рада буду. За что только господь послал такое счастье? Что было бы, если кто-нибудь другой; не даром я почувствовала так хорошо с тобой во второй уже приезд. Уж как я боялась, думаю, как в женихе будут такие черты, за которые нельзя ни любить, ни уважать, Я умерла бы. Случалось, что показывали мне свою любовь некоторые, словно бы и хорошие, но не по душе были, не лежало к ним сердце. Только бы поменьше стыдиться, не так бы страшно было. Когда получила твое письмо, шила пелену к иконе Шуйской Смоленской Божьей матери, теперь вот нужно было бы убраться к празднику в своей комнате, да и в других помогать, а не могла бы, пока не напишу тебе и немного поуспокоюсь. Хороший ты какой на карточке и очень похож, я теперь всем показываю, один братишка посмотрел, а и говорит: «Эх-ма, усачи-гренадеры». Вообще все радуются, глядя на меня, все просят письмо почитать, а я не даю. Вообще, я не податлива на такие чувства была и горда. Очень я рада была, что остался ты на другой день, я привыкла ближе стали мы друг к другу, только боялась, что не особенно тебе

правляюсь. Господи, вот любовь уж начинается, кабы она выросла, окрепла, я о таком счастье и подумать не смею. Очень я рада была, что вокруг нас собралась вся семья, я все смотрела, как слушают тебя мальчонки наши. Словно уж ты вошел в нашу семью, а е я уйду из нее. Ведь жалко очень своих оставлять. Мой большой поклон Ивану Ивановичу, он мне кажется добрым и мягким, ты будь ко мне поспнисходительней, я бываю иногда и не осторожна на словах, я рада, когда меня останавливают, хотя и не понимаю отчего. Желаю тебе доброго здоровья, поздравляю с наступающим праздником, жду тебя. Я позабыла сначала сказать от тебя поклон папе, а он спросил «а дедушке?». Я только тут заметила, что дедушке ты не кланяешься, позабыл, смотри, на Рождество не забудь поздравить. Наши все тебе кланяются. Мама меня уговаривала на Рождество написать, а я уже не могу ждать. До свидания. Целую в лоб, чтобы не морщился. 21 декабря 1900 г. Твоя Дуня».

А вот ответная.

«Милая Дуня.

Поздравляю тебя с праздником Рождества Христова, желаю тебе от души всего лучшего. Твое письмо получил, прочитал раза четыре, дабы глубоко понять твое душевное состояние, когда ты писала. Я очень рад видеть, что ты меня поняла так, какой на самом деле я есть; в свою очередь, что я искал, то и нашел. Я раньше вообще относился к женщинам с критической точки зрения и вообще не дружелюбно. Мне не верилось в их искреннюю любовь, благодаря чему с ними

близко не знакомился. Но теперь, зная тебя и предвидя будущность, со мной вышел большой переворот, хотя откровенно сказать, но боюсь только что-то сознаться себе, что я влюблен, но достаточно и того, что я люблю и любим, в этом я не сомневаюсь. Да, Дуня, мне очень приятно было читать и перечитывать твое письмо, наедине вспоминать о тебе, с нетерпением ждать скорого свидания. Все это факты на лицо факты неподкупные, нельстивые, а особенно последнего я страшно боюсь, чтобы меня в этом не заподозрили, в особенности ты.

Умалчивание мое и сдержанность ты и поняла немножко не так, т.е. тебе показалось, что мне ты не особенно нравишься, а это совершенно наоборот. Я боялся льстить тебе даже в мелочах, да при том и взгляд у меня серьезен не по годам, а особенно к слову любовь. Это письмо писать мне и не время бы, так как сегодня сочельник, да и письмо специально поздравительное, а вышло любовное. Должно быть, я еще никого не любил, что слишком сильно предаюсь этому чувству. Я раньше думал, что совсем не гожусь к составлению любовных писем, а выходит, что листок весь исписываю без затруднений. Послал тоже поздравление твоим родителям, дедушке уже не забыл, очень рад, что ты мне напомнила. К тебе приеду, вероятно, в первый день праздника, дабы второй провести вместе, ввиду того, что я обязательно должен съездить в Симбирск, а так как вы тоже собираетесь в среду, то есть днем позже меня в Москву и побудите там дней 5 – 6, то и я проезжу в Симбирск не более 7 дней, так что мы вместе

можем съехаться домой. Поездка эта для меня неотложная, тем более, что служа своему делу, я его ставлю выше своего наслаждения. Да об этом поговорю лично. Как жаль, что придется расстаться на целую неделю. Прости. Крепко целую тебя в уста. 24 декабря 1900 г. Кинешма. Твой Василий».

«Сижу сейчас за чтением, дорогой Василий, и говорю: «Вот кабы нечаянно приехал», мама только головой качает, а тетя спрашивает: «Что, рада бы была?» – «Конечно, рада». Ты правду сказал, что я устала в те дни оттого, что много перечувствовала. Меня так глубоко задевает все. Не хочу я тебе писать о своих чувствах, сама скажу и не тогда, когда ты будешь меня спрашивать, вырвется само собой. Вот память у меня плохая, а твои слова, как начну передавать, так без всяких изменений, даже с твоим выговором. А пошла к знакомой белошвейке, так зашла в совсем другой переулочек и ищу, конечно, потом сообразила и нашла. Вот ведь все какую чепуху тебе пишу. Прости уж. Будет. Вот ты как себя чувствуешь? Знаешь, ты никогда так не будешь меня любить, как я тебя, а может быть!..

Что вспоминают братья твои о Шуе, какое впечатление вынесли они от посещения нас? Пока пишу это письмо, все меня отрывают.хлопот много. Вчера были подружки, метили мое белье, а на твоём белье меточки я никому не дам метить, все сама, а мамам смеется, наверное, и ты посмеешься. Не показывай моего письма никому а то рассержусь. Передай мой поклон братьям, Ивану Ивановичу побольше. Я сейчас хотела

бы тебя увидеть в Кинешме, где ты теперь и что делаешь... до свидания. Твоя Дуня».

«Милая Дуня, желаю тебе доброго здоровья. Дай Бог провести эту последнюю неделю благополучно. Она будет для тебя чувствительна. Только себя веди твердо, крепко, особенно в день прощания и отъезда, не плачь, как это делают многие, ведь переход из твоей жизни в другую, не худшую жизнь, а может быть и лучшую, так о чем же будешь реветь. Чему быть, того не миновать, повинуйся судьбе и будь довольна ею. У нас здесь нет особенных приготовлений; какие будут оставили на пятницу и субботу. Так что я какой был, такой и есть, только нахожусь под впечатлением проведенного с тобой дня и теперь кровь еще не успокаивается от твоего пожатия руки и моего несмелого поцелуя. Я чувствую, что еще не имел права, потихоньку от родителей прижать тебя так, как хотелось, поцеловать с чувством, и почему у нас в этот промежуток времени даже не находилось слов, приятно было сидеть, молчать и чувствовать... нам с тобой наедине приходилось быть очень мало, при людях же не могу ни одного сокровенного чувства выдать, такая уж натура. Но загляни поглубже в мою душу, так увидишь, насколько я, внешне холодный человек, оставил для твоего теплого чувства место. Много думаю о тебе и о переходе в новую жизнь, мечтаю с лучшей стороны, черные же думы не удерживаются в уме. Счастлив, что ты такая, какую я воображал, и надеюсь, что мы с тобой прекрасно заживем. Душевные качества выше всего ставлю; у тебя душа

прекрасная, тем более в твоей любви не сомневаюсь, это еще больше мне льстит в будущей жизни. Будем надеяться на Бога, без его воли ничего не свершится. Прощай! Будь здорова, бодра, крепко обнимаю и целую. 16 января 1901 г. Твой Василий. Пишу урывками в лавке. Жду тебя в субботу. Кинешма.»

Сначала отправили мое приданое – 3 сундука, один с подушками и два с одеждой и бельем, затем мебель по железной дороге в сопровождении Никифора Игошина. Когда он сдал в Кинешме все благополучно, Вася дал ему золотой в 10 рублей. Никифор все вспоминал впоследствии, что никогда он не был так счастлив, как получивши эти деньги. Он еще был мальчишкой. После, когда он отслужил в солдатах где-то в Польше, Вася взял его к себе в бухгалтера.

21 января 1901 г. Совершено было наше бракосочетание в Кинешме, в Благовещенской церкви. Потом был обед и танцевальный вечер, на котором мы оставались недолго и отправились в Москву дней на десять. Остановились мы в номерах Елисеева на лубянке. Провели время, как и все новобрачные. На предложение Васи купить мне что-нибудь на память, я попросила купить полное собрание сочинений графа Алексея Константиновича Толстого. Вася лежал на кушетке, я сидела рядом и читала ему вслух стихотворения, былины и поэмы Толстого, в промежутках целовались, ходили гулять и в театры. Эти книжки мне остались на память, в них я находила родственное моей душе. Во второй день нашего пребывания в Москве мы пошли в новые ряды. Вася оставил меня ненадолго

погулять в них, а сам отправился покупать всем рабочим и служащим в память нашего бракосочетания по брюкам. Ходила по рядам я как потерянная, боясь увидеть кого-нибудь из Шуйских, но вот пришел Вася, подхватил под руку и чувство это прошло.

Возвратившись в Кинешму, Вася стал заниматься в лавке, а я привыкать к хозяйству. Раз зажгла лампу-молнию с круглой светильней, стоявшую в зале, да ненадолго и отошла, она разгорелась и сильно накоптила. Иван Иванович набросился на меня, а Вася сказал: «Заведи свою жену, да и кричи на нее». Он и притих. На другой день с утра я начала убираться с горничной в зале, я разрежала французскую булку вдоль пополам, протерла весь потолок, отмыла все листочки цветов, а их было много: фикусы, пальмы, латании. Стала поворачивать мокрый цветок, да задела за стену, на ней пятна оставила. Сильно расстроилась, была я очень робка. На первой неделе Великого поста уехала я погостить в Шую, так полагалось. Вот мое письмо от 14 февраля 1901 г.:

«Милый Вася, сейчас сидела я в кругу своих в бывшей моей комнате. Папа лежал на печке и прогревал живот. Мы перекидывались словами. Я задумалась о тебе. Ты вот меня спрашивал, за что я тебя полюбила. Да вот, хотя бы за то, как ты пожалел меня в истории с лампой, как-то по-своему, а немногие бы так пожалели. Полюбила я тебя за то, что считаю умнее других, за то, что ты относишься хорошо к людям, стоящим ниже тебя. Твое отношение ко мне возбуждает любовь, я не могу еще объяснить почему. Ты теперь ведь так

близок мне. Я уже не делюсь ни с мамой, ни с подругами своей внутренней жизнью. Не могу уже ничего им передать, мне кажется, что меня бы не поняли и мыслями своими оскорбили бы меня. Раз только я на тебя обиделась, горько мне стало, что ты при других сказал, что я соображаю, как деревянный столб. Я знала, что ты шутишь, да уж так как-то. Теперь уж у меня ровно никакого следа не осталось на сердце, вот и пишу. Я поняла, что ты просто грубо выразил свою мысль. Сейчас ты, наверное, уже спишь. Только что читала я «Записки из мертвого дома» Достоевского – меня очень они интересуют. Дуня Шемякина.

(Дописываю на другой день)

Сейчас пришла из лавки, есть там покупатели от оп приехали за пшенами , папа занимается с ними, только он чувствует себя плохо, наелся постного и уже хочет переходить на рыбу. Я, наверное, погощу и вторую неделю, так уж нужно. Денек стоит какой хороший, совсем не постный и на душе по-весеннему. Схожу сегодня в гости к Мухиным, считаю надо, а то обидятся.

Прощай, милый-хороший мой Васек.

«Милая Дуня, сейчас только переставил кровать и перенес гардероб и прихожую, лично таскал из последнего твою шубу и платья, которые мне напомнили, что я женат, а то эта прошедшая неделя так прошла долго, как целый год. Ты и все пережитое с тобой кажется как в тумане и я будто не женился, потому что жизнь идет так, как и раньше – вечером, разливая чай, читаю газеты, говорим все на ранее известные темы,

ложимся спать ранее обычного и при том, к слову сказать, спится очень крепко.

В лавке усиленная торговля разбивает мысли о тебе, да ведь я еще мало жил с тобой, всего только 3 недели, да и то не настоящей домашней жизнью, а какой-то особенной, чуждой мне. Твои письма, полные любви, напоминали мне, что я их получал не от жены, а от невесты, потому что в моем воображении казалось, что жена без доказательств должна любить мужа, да при том первая неделя поста действовала на меня как-то особенно религиозно. Да, действительно, должно быть мы с тобой еще мало пожили вдвоем, не так привыкли друг к другу, как следовало, потому что я не ощущаю большой тоски в одиночестве или может быть у меня такой холодный рассудок, который ко всему велит относиться равнодушно. Твои письма все-таки получал с удовольствием. Прости меня за откровенность, но что есть, то и пишу. Передай папаше прилагаемый счет, а также скажи, что я в Лысково теперь пока не поеду, отложил на неопределенное время вследствие покупки здесь, в Кинешме, 30 000 пуд. овса по 51 коп. за пуд со Спасской пристани. Паша уехал в Плес в пятницу и пробудет там до завтрашнего дня. Нахожусь в доме только с Яшей. Сегодня обещал вечером прийти к нам Крылов и ветеринарный врач Золотов, а также с сегодняшнего дня разрешается игра на музыкальных инструментах, однако, будет невеселой. Если папаша не уедет в Лысково, то постарайся приехать поскорей сюда, а если уедет, то поработай для них, здесь особенной нуды в тебе нет. Да,

женился для того, чтобы жена была хозяйкой в доме, а ее и в помине нет, но прости и за это. Прощай! Будь здорова, кланяйся папаше, мамаше, дедушке и всему семейству. 18 февраля 1901 г. Твой Василий.

Конец первой части.

2-ая часть

Началась моя замужняя ж и з н ь.

«Переходя в суровое ожесточающее мужество

Забирайте с собою в дорогу

Все, что есть хорошего в Вашей душе,

Уроните, не поднимете потом!»

Из «Мертвых душ» Гоголя

Василий Иванович родился в 1873 году в городе Плесе, в низеньком домике, в полугоре, окошки его были на земле.

Отец его служил то водоливом на барже, то становился временным управляющим при покупке хлеба у фирмы Маклашина. Жили небогато. В детстве спали на полу. Пока зерно идет в барже, оно отпыхивает и прибавляет в весе, излишек оставался в пользу водолива. Сухость зерна не проверялась, но известный процент допускался. Понемножку благосостояние стало увеличиваться. Старый развалившийся домик под Секретаревой горой сменили на более лучший на Набережной, при впадении в Волгу небольшой речки, называемой в верховьях ключами. Отец женился 32 лет, а до этого времени долго хворал лихорадкой. Ученье свое Вася

вместе с другими мальчиками начал у вдовы Александра Евсеевича на дому по старинным церковным книгам.

Буки-аз-ба, веди-аз-ва – твердили они наизусть. Аз, ангел, архангельский – читали они, водя указкой по строкам и в усердии протирая их до дыр. Среди учеников были и способные, и тупые. Насмешил Вася меня, рассказывая, как один из них пыхтел, пыхтел над книгой, да шапку в охапку, крикнул: «прощайте все сволочи» и укатил, пока его опять не водворили на место родители. «Чичи» - прозвали товарищи двух тупых братьев, эти прозвища и остались за ними до настоящего времени. Родители Васи звались Шемякины, Левшины, в отличие от других Шемякиных, которых в Плесе было много. В роду у них был какой-то левша. Потом Вася поступил в городское училище на Соборной горе и окончил его. Учение там было поставлено хорошо.

Любимым предметом Васи была география, а историей интересовался его отец. Родители его были староверами Австрийского толку и молились большим крестом, а не щепотью, строго соблюдали посты и приучили к этому детей. Семья их состояла из отца, матери, 4-х сыновей и 2-х дочерей. Рос Вася без няnek и надоедливого надзора, на свободушке, два раза тонул, один раз в верхнем пруду, вытащил брата, другой раз на Волге, лет 4 – 5, сижу, говорит, на корточках и гляжу вверх, с пристани бросились и вытащили меня за волосенки. Пойдем учиться к Евсеевне, да и прогуляем. Таску получим, как узнают. По праздникам отправляли в церковь, тут тоже умудрялись летом покупаться, а зимой покататься с

гор. Ивана Ивановича, старшего брата, отправили в приказчики в Кинешму, к Маклашину. Потом в Плесе случился розыгрыш на права по торговле водкой (прежде были какие-то откупа) и им достались права. Их они продали, не хотели торговать водкой, а открыли хлебную лавочку в Кинешме. Плес в это время замирал, а Кинешма с проведением железной дороги до нее развивалась. Постепенно переехали туда и другие братья под начало Ивана Ивановича. Из братьев служил в солдатах только один Василий Иванович, по жребию он попал в крепостную артиллерию и кончил службу в городе Ковно фейерверкером. Приходилось ему и стоять по нарядам в прихожей у полковника, подавать одежду, калоши и т.п. Сам-то полковник, говорит, был хороший, ну а уж барыня его, беда какая спросливая, калоши заставляла на нее надевать. Служба ему давалась легко и развила его. Из своих сослуживцев он взял впоследствии двоих в приказчики. Иван Иванович хотел было жениться на красивой бойкой девушке из богатой семьи Калашниковых, отец считал этот брак неподходящим, попросил отложить, а тем временем она вышла замуж в Кострому. От нее у него хранилось колечко с надписью: «носи – не теряй, люби – не забывай». Соня Калашникова. Он остался в обиде на отца холостым.

Во время их торговли случился в Кинешме громадный пожар, сгорела и их лавка с товарами. Мать утешала их,, говоря: «Аще и весь мир приобретаешь, в землю снидеши». Страховку им выдали, духом они не упали и дело опять пошло. Когда я выходила замуж, Васиных родителей уже не

было в живых. Дело торговое развивалось, хотя капитал был еще небольшой. Из братьев Васи я больше любила Ивана Ивановича, хоть он был и горячий, и, порой, мелочный, но лучше тех братьев. Его звали моей свекровью. Он любил комнатные цветы, выращивал их, любил изысканно покушать, изредка постряпать на кухне селянки, заливные, пломбиры и т.п. О закупках по домашнему хозяйству он заботился. На наших харчах жили несколько рабочих и служащих. Им отведена была комната при доме внизу. По воскресеньям Иван Иванович любил сходить к ним поиграть в козла и попеть песни. Вася говорил, что он их стесняет и ходил туда редко и ненадолго. Так ли это было, не знаю. «Солнце всходит и заходит» и «Ермак» часто доносилось оттуда.

Павел Иванович был франтом, костюм н костюм, красивый на лицо, но с расшатанным уже здоровьем и своему слову не господин. Яков Иванович, младший, рябоватый, высокий парень, худощавый, хорошо играл на цитре, балалайке и баяне, умел петь, только голос тонок был, слабоват уего. Горничная девушка Наташа забеременела от него – это узналось. Иван Иванович уговаривал его жениться на ней, говоря, что не будет ему счастья в женитьбе, если он ее бросит, но он от всего отперся. По делу он был неважный и мог торговать только в мелочной лавке под домом на улице, где торговля была небольшая. А главная лавка на площади против Волги находилась сзади Казанской церкви и сдавалась от нее. Деньги крутились, товар не залеживался, дело шло в гору. Чтобы не вызывать неудовольствие братьев при

увеличивающейся нашей семье, положили всем одинаковое жалование. Бухгалтерия была поставлена хорошо. Я первое время не смела попросить у Васи на мелочные расходы, и когда мне понадобились деньги, продала большую простыню, вышитую ручной гладью и ковровый шерстяной капотик, бывший у меня в приданом. Ведь поеду в Шую в гости, надо же мне было привести подарочки папе, маме, братьям, сестрам и прислуге, да и в Кинешме иногда требовались деньги. Приданого за мной было 3 тысячи Костромского земельного банка, да на сберегательной книжке 700 рублей. Это было дано убрать Ивану Ивановичу в несгораемый железный сундук, в дело их не брали. Одевалась я скромно и Вася тоже, он никогда не покупал костюм в запас: «Зачем, изношу, тогда и куплю» - говорил он. Только для лавки была особая одежда. Он ездил закупать рожь, пшеницу, овес на пристанях по Волге и в южные губернии зимой. Пшеничную муку покупали на крупных мельницах Бугрова, Башкирова, Соколова и др. За пшеном, крупой ездили по железной дороге больше или покупали через доверенных. Славилось пшено Зарывного, Брагина. Закупки вел больше Вася, уезжать приходилось по осеням надолго. Покупали по Волге в Спасске, Хрящевке, Часовке, Чистополе и других пристанях. Вот письмо Васи с пристани:

«Милая Дуняша. Вот уже три дня как приехал сюда и начинаю немножко потасковывать, это потому, вероятно, что делов немного, а от безделья всегда скучно, только и развлечения, что почитаю. Покупка здесь идет с 6 утра до 8

часов утра почти кончается, так что видишь, сколько свободы, сходить почти некуда, места не живописные, лесов нет, а на степь смотреть однообразно. Привозы хлеба малы, да и цены стоят высокие, это тоже беспокоит, поэтому башка занята мышлением, а делов мало. Вот в этом-то у меня и идет «и день да ночь, и сутки прочь». Только и ждешь, как праздника, чтобы ухать восвояси. Я не могу даже представить, как ты за эти 10 дней себя чувствуешь. Жду от тебя письма, как с неба манны, но, конечно, раньше пятницы не должен получить, так как ты не знала, куда писать, где остановлюсь. Сомлеваюсь, что ты не уехала ли в Шую и мои письма проваляются в Кинешме и от тебя ничего не получу, да и твоя болезнь с ума нейдет.

Ну да время все разрешит, это самое лучшее лекарство. Я здесь в общем здоров и такой, как ты привыкла видеть меня. Особенно еще писать нечего, рожь сегодня покупали уже 66 коп., у нас куплено 15 000 пудов, еще купим тысконок 12, а больше покупать не буду, цены дороги, как бы на убыток не проработать. Прощай, милая, будь здорова, не тужи, а уповай на будущее, как уповает твой Василий. Целую тебя, да так крепко, как никогда.

5 сентября 1901 г. Спасск. В.Шемякин.

В письме говорится про мою болезнь. Дело в том, что я, забеременев, скинула шестинедельного. я еще не догадывалась, что беременна. ходили гулять на Межаново поле, Иван Иванович кидал все трость вверх и чуть в меня не попал, я испугалась, отскочила, пришла домой, сделались

сильные боли и кровотечение. Прислуга догадалась и позвала акушерку, но она не помогла, дней 10 я мучилась сильно, волосы так скатала, что не могла расчесать и от косы осталась только половина, выдрала чесавши. Позвали доктора Яблокова, я не стыдилась его, так как читала когда-то «Записки врача» Вересаева. Боялась, чтобы не было у меня заражения крови, говорили, что мне надо сделать операцию и что у меня не будет больше детей. Приехала мамочка и мы решили ехать в Москву к доктору Варнеку. Мы еще тогда не получали жалования. Иван Иванович выдал мне из моих денег на поездку, обрезав купоны далеко вперед. В Москве мне Варенек сказал, что делать операции никакой не надо, прописал горячие спринцевания и предсказал, что я опять скоро забеременею. На втором месяце беременности велел больше лежать и быть осторожней. Скоро у меня все прошла. Когда родилась у меня через год Любонька, о, как я была счастлива. Кормила ее грудью с наслаждением, не обращая внимание на боль трескавшихся сосков. Люба росла румяной, здоровенькой. У меня было молока много, двоих бы выкормила. Когда я была беременной, сестра Васи, Надежда Ивановна, приезжая из Плеса, стращала меня, что родится урод, так как я не соблюдала поста.

Потом пошли частые дети. Васе они не мешали. Он спал очень крепко и когда я перепеленывала ребенка рядом с ним (спали на двуспальной кровати по старине), никогда не просыпался, заревет Любонька, я ей резиновую пустышку в рот, а она ее и мулызнет, молчит, спеленаю, покормлю

грудью и спать уложу. Появились дети, потребовались расходы и я уже не стеснялась просить у Васи, да и он сам стал заботиться и давать мне. Мы становились с ним все ближе. Он много занят был своими делами, порой мне казалось, что он мало меня любит (начиталась в девушках романов). Он меня никогда не хвалил, только в шутку скажет: «Да за что тебя хвалить-то, что в тебе хорошего-то», а сам приласкает. «Эх, дурочка, - скажет – хороший-то товар хаюют, да берут, а плохой-то похваляют, да откладывают». Я любила погреться у него на груди, раскрывши пиджак, любила его за своеобразность, энергию, грубоватую силу, доброжелательство к людям. Он был прост, нетребователен и добр ко мне.

Раз я его приревновала. Приехала в Кинешму семья музыкантов Шварц: отец, мать, двое сыновей и дочка лет 20. Они приезжали и в предыдущем году и знакомы были Шемякиным. Молодежь стала бывать у нас. Девушка была красивая, ей, должно быть, нравился Василий Иванович и она повадилась уже к нам ходить одна, придёт ко мне в комнаты, прихорашивается перед зеркалом, вертится, попросит пить воды, много найдет предлогов, чтобы увидеть Васю, стала ходить и в большую лавку на площади. Вот раз мне жена Васиного товарища Крылова и сказала: «Шварц-то хвастается, что Василий Иванович ей цветы подарил». Я пришла домой сама не своя. А ночью рассказала мужу и разрыдалась. «Зачем ты на мне женился, если я тебе не нравилась, ведь я не навязывалась. А теперь ведь у меня ребенок». «Что ты, глупая,

ведь я шел по двору, она встретила: покажите мне садик (у нас был небольшой), вот там я сорвал несколько цветков и дал их ей. Она нам и в той лавке надоела уже, мешает. А Иван Иванович наверное услышал отзвуки моих рыданий, его спальня была под нашей. И ей дали понять, чтобы она больше не ходила. Зимой она вышла замуж за какого-то молодого служащего на фабрике и на масленице каталась с нами на тройке. А потом уже исчезла из виду. Вася меня никогда не ревновал. Я часто заменяла Якова Ивановича в лавке под домом, куда частенько заходил сын барина Бубякина, красивый, рослый парень, он не прочь был пофлиртовать, но я ведь горячо любила своего мужа.

Мне в помощь была дана старенькая, глуховатая няня из Плеса и я пользовалась свободой, мне можно было отойти, а когда не кормила и отъехать. Летом ходили погулять на бульвар, в рощу, на Механово поле, где устраивались состязания, у нас была одна беговая лошадь Набат и 4 рабочих. Зимой мы катались без кучера то на беговых санках под зеленой сеткой, то в кошеве на постой лошади ездили за город. Брал иногда меня с собой Вася покататься на пароходе до Нижнего и раз до Рыбинска, когда ехал по делам. Однажды мы ехали с Васей на пароходе до Нижнего. Погуляли с ним по палубе, он заметил, что в рубке первого класса сидит Малюшкин со своей женой (Юрьевецкий мельник), черной, грубой такой на вид женщиной, закусывают, выпивают, Вася и говорит: «Дуня, мне надо бы поговорить кое о чем с Малюшкиным, компания это тебе не подходящая, я пойду,

посижу с ними». Ушел, я осталась одна, то в каюте посижу, то пойду по палубе, загляну через окно в рубку. Вася там, разговаривают, смеются. Ночь была тихая, нежная, ароматная, шли близко к берегу, заросшему ивняком, бесчисленный хор соловьев доносился оттуда. Чудная ночь! А Вася все не идет. И начал за мной ходить какой-то господин; я облокочусь на барьер, остановлюсь и он остановится рядом. Заглядывает мне в лицо, пойду и он за мной. Я испугалась, ушла в каюту и заперлась. Раза 3 он пробовал отворить дверь, окликнешь: «Кто тут?», - не отвечает. Вспомнила я тут и «Морскую болезнь» Куприна. Жутко мне сделалось. Наконец пришел Вася: «Ты еще не спишь? А я засиделся».

Зимой иногда ходили в театр. В Кинешме был порядочный. Бр. Шемякины, как называлась наша фирма, сняли в аренду лет на 5 у барина Бубенина небольшую водяную мельницу на реке Кинешемка, верстах в двух от города, ее поустроили, поставили вальцовки и начали работать обойную ржаную муку. Но эта мельница не удовлетворяла, только поучились на ней. Гуляя с Васей на маленьком бульваре, сидя на тычке над речкой Казахой, мы глядели вниз, где ютились старенькие домики, и думали, вот бы где мельницу-т построить – за Казахой на углу: баржи с рожью подводи прямо к мельнице и узкоколейка проходит мимо. А мельница Бубенина мала, отдалена от Волги, много расходов ложится на хлеб. И вот Вася настоял у братьев купить участок земли на углу Казахи и поставить там современную вальцовую мельницу. Многие стращали:

«Заведешь мельницу, вылетишь в трубу», но была энергия у Василия Ивановича, стремление работать вовсю, дать народу дешевую, хорошую ржаную муку – обойную и обдирную. Под руководством инженера Королькова выстроена была мельница по последнему слову техники. У Эрлангера купили мельничное оборудование, поставили газогенератор и заработали, кажется, с 1906 года. Ни один из братьев не касался мельницы, всецело ею занимался Василий Иванович, она была его детищем. Как я принимала к сердцу детские интересы, так он мельничные. В то время мы уже жили только своей семьей. Женился Павел Иванович на приемной дочери фабриканта Гусева из Зимёнок и нам отвели маленький домик рядом, на одном дворе, а наши комнаты заняли молодые. В этом домике у меня родился Ванечка, а затем Наташа, Дуня.

Рост у Вани был тяжелее, чем у девочек. На первом году он долго болел поносом, несмотря на то, что я кормила его по всем правилам педагогики. От поносу он ослаб и рос бледненьким. А я в нем души не чаяла, один был мальчонка-то. Няня у него уже была не та, что у Любы и Ани. Первую я рассчитала, рассердившись на нее за то, что она доводила до слез девушку-горничную своими придирками, она была груба, я побоялась влияния ее на детей. Новая няня была интеллигентнее, прожила у нас лет 10, пока не ушла к своей племяннице-учительнице, когда у той родился ребенок. Племянницу эту она очень любила, отдавала ей все свое жалование пока она училась и многие подарки, которые я ей дарила.

Здесь родилась у меня после Ани дочка Танечка; она умерла 3 месяцев от оспы, я привила ей раньше, чем другим детям, она и захворала настоящей. В то время была эпидемия оспы. Захворала и я. У ней все тельце было в волдырях и личико, я боялась за глаза. Она умерла. Температура у меня вспыхнула до 41° , но высыпи было мало, в детстве была привита, меня и не испортило. Помню, мне все казалось, что я поваливаюсь куда-то и я ночью хваталась рукой за Васю, он так и спал со мной, у него была привита оспа второй раз в солдатах. Всем окружающим рабочим и служащим привили оспу. Случаев не повторилось. После оспы и смерти Танечки я ослабела, голова стала кружиться и желудок пошаливать. поехала к родителям, там позвали ко мне доктора Филипповича, он мне помог и в Шуе я отдохнула. Вася не любил обращаться к докторам и только раз за всю жизнь, когда уж был НЭП, обратился в Москве к профессору Захарьину, он боялся рака, отец у него им помер (от рака). А профессор сказал, что он совсем здоров и так, говорит Вася, стыдно мне было перед ним, что я желал хоть немножко быть хворым.

После Танечки родился Ванечка, а затем Наташа и Дуня. Из маленького дома мы ездили раз с Васей в Ялту, прихватив с собой и Катеринушку. Там мне понравилось только море, да высоко на горе над обрывом. Там чувствовалась отрешенность от всего земного. Видели мы платан Пушкина со скамьей под ним, скалу Левитана, с которой он писал море, дачу Чехова. Природа против нашего севера мне не понравилась. Не было

нашей белой березоньки с зеленой косой, сосны какие-то тощие. Везде подчищено, кипарисы у дорог все пыльные. На горах в садах дачи, напоминающие старинные замки с башнями, и везде надписи на калитках «Вход запрещается». То ли дело у нас – иди куда хочешь по лесам, полям и лугам – раздолье. Ездили мы втроем на Ай-Петри верхом с проводником. Катя взяла белую старую лошадку, а мне попалась молодая, она все переходила на галоп, я не боялась, но так набила себе сиденье, что уже потом Вася с Катей и еще одной компаньонкой катались одни без меня. «Говорил ведь я тебе - бери беленькую», - сказал Вася. Ничего, иногда и одинокой побыть хорошо, полюбоваться морем, нервы успокаиваются. Пребывание на чистом воздухе укрепило. Видели мы там и царские дачи. Мы ехали с экскурсией на линейках, а навстречу неслись гайдамаки, мне запомнились их свирепые лица. У нас от Крыма осталось несколько снимков. Были в Гурзуфе и Алушке. Останавливались в Ялте в гостинице «Джалитра» в двух комнатах, одна, Катина, с видом на горы, другая, наша с Васей, с окнами в сад. Видела я в Ялте Арцыбашева, автора романа «Санин», которым тогда многие увлекались. В крылатке, черный такой, с огненными глазами, он шел со своей красивой подругой в широкополой шляпе с венком около тульи.

Японская война Васю не задела, артиллеристы его годов не были призваны. Торговля развивалась, мы, что называется, шли в гору. При покупке хлеба стали иметь дело с помещиками. Их хлеба ценились в большинстве случаев

дороже крестьянских по своему качеству. Мне вспоминается рассказ Васи, как он обедал раз у Молостова: «Подали спаржу, а я думаю – что за червяки; поглядываю, как едят, попробовал – вкусно. После обеда подали полублюдо и на нем стакан воды, гляжу, все сидящие начали полоскать рот из стакана, а в блюдо выплевывать, ну уж я не стал, мне это попротивело. Встал из-за стола не сыт, не голоден». Заботы по покупке ржи прибавилось. Мельница стала работать по 10 000 пудов в день. Мечты Васины исполнились, мука стала выходить лучше и дешевле, чем у других и пошла она не только по Кинешемскому уезду, но и в Иваново, и в Шую, и дальше по Волге. Зарботки наши увеличились, прибавили и жалование. Выписывали сначала с братьями «Русское слово» да «Ниву», потом прибавили «Русские ведомости» и «Торгово-промышленную» для того, чтобы быть в курсе отечественного и мирового рынка. Отруби наши через Рыбинск шли и за границу. Стали мы раз в зиму ездить в Москву, побывать в театрах и купить кое-что. Смотрели в Художественном «Смерть Иоанна Грозного» Ал. Толстого в постановке Станиславского. Незабываемое впечатление получили. Помню, Годунов открывает окно в опочивальне и кричит народу: «Царь Иоанн Васильевич скончался», потрясающий ... в театре Корша были на «Сорочинской ярмарке» Гоголя. И сейчас еще вспоминаю, как Хавронье объяснялся в любви дьячок на церковном языке. Сколько юмора во всем. Какой мягкий и приятный малороссийский язык! Какие типы! Опера на меня не всякая действовала хорошо, я не любила завывания

о любви. Музыкальный слух был у меня хуже, чем у Васи. Любила только «Евгения Онегина» с Собиновым во главе. Да «Фауста», где Мефистофеля исполнял Шаляпин. А одно последнее сказание я полюбила уже потом через патефон, пластинка эта Шаляпина и сейчас у нас цела. Долина, Серебряков, Тугарина раз заезжали к нам в Кинешму. Боже, как хорошо они пели! Сколько чувства пробуждали они...

Глядя, как одевается жена Павла Ивановича, и я стала одеваться лучше и по платью в год заказывать в Москве, чтобы Васе не стыдно было за меня, да и для всех хотелось быть симпатичней, а не безобразной, в особенности во время беременности. Сначала я одевалась ведь очень просто, что прислуге, то и мне шила одна портниха. Раз, помню, приехал молодой инженер с предложением услуг по оборудованию мельницы, побывавший за границей. Я разливала чай, угощала, он принял меня за компаньонку, а гостью за хозяйку, с ней и при уходе простился, а мне даже и не поклонился. Вася не доверил ему все-таки устройство или же он ему дорог показался, только оборудование мельницы было передано опытному монтеру Эрлаггера.

По нашему примеру и Ивановские крупные торговцы Латышов и Куражов построили мельницы в Кинешме, но нам не повредили. В это время в моей родной семье у мамочки родился еще сын Коля, моей Любе дядя, оказался моложе своей племянницы. Сестра Маня кассировала в лавке, Люба помогала по хозяйству. Дедушка уже помер, последнее время был уже слепой. Брат Ваня кончил только три класса и когда подрос, папа отправил его торговать в мелочную лавку против

вокзала, в фабричном районе, где был уже преданный старый приказчик, поставленный на отчет. Папа меньше стал раздражаться с Ваней, и обоим стало легче. Вот в этой то заречной лавке, по словам сестер, за прилавком скрывался некоторое время Фрунзе. Я уже была замужем, за достоверность не ручаюсь. Может какой другой большевик. Саня кончил гимназию и поступил в университет. Леня учился в городском. Оба они были ловкие и красивые. Саня – веселый, добродушный, жизнерадостный, статный парень. Войдет в комнату, заулыбаются все. «Удаль влетит, да обнимет, станешь и весел и молод». А папа стал больше хворать, он перемоглася, его все рвало, сначала лечился в Шуе, потом, когда уже Саша служил вольноопределяющимся в Костроме, он обратился в Москву к профессору, у него нашли ракообразную язву, положили в поликлинику, выдержали там, делая промывания желудка, а потом профессор Спичарный сделал ему операцию без хлороформа, продолжалась она около 3 часов.

Вот, что писал папа накануне операции:

«Сейчас был у меня профессор и доктор, назначили операцию четверг 15-го. Помолитесь за меня, чтобы Бог помог вынести. Прощайте, будьте здоровы и счастливы. Посылаю вам свое родительское благословение на все хорошее. Любите детей и друг друга. Саня, не оставляй братьев и сестер, живите в мире и любви и тогда у вас все будет хорошо. Уважайте старших, не забывайте мать. Исполняйте данное слово, в

делах будьте честными. Остаюсь любящий вас душой и сердцем. И.Турушин».

Операцию папа выдержал и быстро стал поправляться. Долго еще из клиники справлялись о его здоровье. А он стал все кушать и прожил еще больше десятка лет. У нас семья прибывала, и мы купили с согласия Ивана Ивановича старинный двухэтажный каменный дом на набережной у Хомутовых за 19 000 рублей. Взяли из своего пая деньги.

Вид открывался замечательный на Волгу, мы прельстились им. Обновили, устроили ванную и сделали побольше окна. Звали с собой Ивана Ивановича, но он не пошел: «Немного уже мне жить то осталось», говорил. Вскоре он и помер от разрыва сердца, на пароходе, у него было расширение сердечной аорты. За телом его ездил Вася и привез его в Кинешму в цинковом гробу, а уже из Кинешмы в Плес и там похоронили. В доме на набережной у меня родился Володя. А дело торговое расширилось, на возрастающий капитал построили склады при мельнице. Василий Иванович задумывал ввести в дело служащих, дать им на мельнице небольшой пай. НО скоро открылась война с немцами и все пошло насмарку.

Вначале нам жилось на набережной хорошо. Люба и Аня учились в гимназии и Ваня начал учиться в реальном, стал он ловким и румяным мальчиком. Но весной простудился. Гуляя на дворе, все разделывал канавки вспотел, сел на террасе отдохнуть, был сильный ветер, его продуло, сделалось

продольное воспаление легких и он болел и поправился не скоро. А уж как жалко-то его было, мучилась я за него.

Настала война с немцами, а народ озлоблялся, ища виновников. Как быть? Если остановить повышение цен, вывезут от нас из Кинешмы всю муку и район наш останется без хлеба. Все-таки решили не повышать цен и объявили об этом в газете. Другая газета откликнулась на это: «Да воссияет нам свет с востока ит.д.», - писала она. А думала: «То нападают несправедливо, то нахваливают не в меру». Чтобы хлеб не уплыл из Кинешмы и город не остался без хлеба, стали отпускать на руки по норме.

Раз явился в лавку фабрикант Тихомиров за дешевым хлебом, прося отпустить побольше, сам не запас вовремя. Василий Иванович и выставил его из лавки. Мы старались помогать государству добросовестно. Я помню, как Вася взялся доставить Сироткину для армии хлеба на самых невыгодных для себя условиях, все удивлялись назначенной им дешевой цен, и все выполнил, несмотря ни на какие трудности.

Купил Вася на мое имя «Займа слободы» на 100 тысяч. Войне не сочувствовали, но помогать стране считали своим догом, ведь братья наши сражались на фронте. А цены Бог строит, а не мы, говорил Василий Иванович. Скоро торговля перешла в казну, да мы и рады этому были. Мельница стала брать только государственный помол.

А Ванечка, то поправится, то опять сляжет, но к зиме он все-таки хворь одолел. Война шла, мы стали из Красного Креста брать на свое иждивение раненых по четыре человека. Сшили халаты и белье. Отвели им большую комнату, они выздоравливали, брали других. Парни были с разных концов Росси, и латыши, и татарин один. Четверо раненых долго у нас были и мы очень привыкли к ним. Я иногда читала им вслух газеты, «Тарас Бульба» Гоголя, «Князь Серебряный» пр. Алексея Толстого и другие книги. Заходил к нам потолковать и Вася, с приходом его они всегда оживлялись. В то время мой брат Саня был уже на фронте. Вася говорил, что едва ли он воротится, в лучшем случае будет только ранен, прапорщиков много гибнет. Саня с год как был женат и у него уже рос белокуренький сынишка Сереженька.

Раненым было у нас свободно, они ходили гулять. Приглашали мы их в зало послушать патефон, пластинник у нас были очень хорошие. От Сани получали редкие письма.

Вот отрывок из его письма с передовой в Шуе: «В первую же ночь меня послали на разведку в неприятельскую деревню, я подошел шагов на 50 и послал поляка солдата узнать, если в ней неприятель. Он нарвался на часового, тот выстрелил и мы убежали, нам главное, надо было узнать есть ли неприятель, но полковнику показалось мало, он опять послал с другого конца. Солдаты у меня заупрямились, говорят, что противник теперь предупрежден и наверное нас перебьет. Я сказал, что не хочет идти, пусть остается, пойду я

один и пошел. За мной пошли почти все. От деревни шагов за 200 остановились и я пошел один. На мое счастье часовые с поста ушли. Я прошел в самую деревню, осмотрел избы четыре, пошел к одной, подхожу: там сидят четыре немца, два взяли ведра вышли во двор. Я в это время смотрел на них в щелку и был на расстоянии вытянутой руки. Вижу, что один ничего не сделаешь. Со мной сзади в ста шагах был еще один солдат, подозвал его, мимо нас прошли два немца на пост, я за ними, они услышали, присели, спрашивают по-немецки, я молчу, тогда они начали стрелять. Я вскочил, бросился на них, но оступился и мой солдат тоже. Немцы продолжали стрелять, мы кое-как отошли и побежали к себе. Донес о всем виденном по начальству. Оно, кажется, не обратило особого внимания, но солдаты после этого стали меня уважать. Это мои первые похождения, теперь буду осторожнее и спокойнее и т.д.».

Саша писал, что край ужасно разорен и столько кругом несчастья, хочется выгнать скорей врагов из своей земли. Убивать и умирать легче стало.

Еще привожу отрывок из письма:

«Я представлен к награде, взял под пулями два пулемета».

Декабря 28-го мы в Кинешме получили телеграмму от сестры: «Боишься говорить папе. Саша убит». О, как ударило по сердцу. Я только что отправила Саше посылочку, сидели за чаем и вспоминали его. Решили ехать в Шую. Мне делалось страшно. «Я боялась еще нового несчастья, боялась, что папа, мама, жена брата не перенесут гибели Сани, боялась увидеть

их первые горькие минуты, но нас встретили уже знающие всё. Брат начал рассказывать, что слышал про Саню, каким он героем был, что он представлен к двум «Георгиям». Отец крепился, с дрожью в голосе, с какой-то болью говорил он, но в глазах не было отчаяния. А сколько раз я потом его видела. Мама, рыдала, жена сидела на диване, стиснув зубы, измученная, ослабшая, она все молчала. Красивая, молодая, всегда нарядная, сидела в черном платке как бесчувственная.

Когда мы остались одни с мамой, она со страхом в глазах, с вопросом воскликнула: «Дуня, как я молилась! Ведь словно по молитвам то моим..., - и не договорила, - Должно быть за грехи нас наказал Господь!» «Нет, мамочка, милая, дорогая, не наказал он. Вот тогда наказание для родителей, когда дети плохие. Я сама мать, пусть мои сыновья будут убиты на войне, только бы были хорошие. Мамочка, ведь он за нас всех заслужил перед Богом и перед людьми. Он получит самое лучшее – «царство небесное», что недоступно для нас. Ему теперь легко. Мама немножко поуспокоилась, повели нас чай пить, а Вася это время был с папой, никто его не мог поддержать в горе, как он. Все вместе сидели мы за чайным столом, стараясь перевести разговор на другое и дать отдых измученной душе. Жену я не могла утешать, чувствовала, что не сумею. А развлечь ее мы все-таки развлекли, невольно она начал вставлять слова в разговор, и все передохнули. На следующей день я пошла с мамой в собор к ранней обедне. Стояла за мамой, было еще темно. Чувствовалось, что общее горе спаяло всех, все мы пришли сюда к общему нашему отцу

и матери и я поняла тут, что если бы мог господь, он сделал бы всех счастливыми! Но он дал нам волю, и мы живем по своей, а не по его воле. Отсюда и все несчастья. А без воли не было бы и жизни. Я почувствовала любовь к Богу и пошла с мамой к иконе Спасителя и Божьей матери и целуя чувствовала эту любовь. Ведь и Матерь Божья страдала за сына, как горе душу очищает.

Милая Люда, посмотрели бы на нее теперь все искренне страдающие. Саша наказывал ей: «Будь доброй душой, люби людей, легче будет, трудись! И она совсем переродилась. При жизни брата мы не были так близки ей, теперь она нам сестра родная, любимая. Для отца нашего не только дочь, как мы, но и работник, как сын. Она старалась помочь папе в торговле, а прежде ревновала мужу к делу. Осталась пока она жить в нашей семье, не ушла к своим родителям. Мне бросилась в глаза ее искренность. Не было в ней ни тени притворства, чтобы не подумали, что она не жалеет своего мужа. Она не станет в нужный момент расстраивать свою душу воспоминаниями, чтобы вызвать слезы. И когда горе ее прорывается, оно так искренно и глубоко, что кричишь в душе: «Помоги ей, Господи!»

Уже после смерти Сани пришли его последние письма. Папе писал он, что ночью, в окопах, когда становится тяжело на душе, вынимал папино письмо и перечитывал его. Оно его поддерживало. Читал и своим товарищам. Писал Саня про тяжелые переходы, в которых он доходил до галлюцинаций от

усталости и бессонных ночей. Убит он был артиллерийским снарядом. Приехал Санин денщик и много рассказывал о жизни на позициях. Говорил, что великий князь Николай Николаевич обходил солдат и один на один, без офицеров, расспрашивал о их нуждах, как их кормят и т.п. Про офицеров рассказывал: многие позахворали, не выдержали, а многие ранены. Вот, говорил он был еще боевой офицер Скурби, всё чертыхался, как его ранили, не хотелось страсть ему уходить с позиций. А то был Турбаевский – ни за что, говорит, не пошел бы к нему в денщики, его наверное сами солдаты прикончат: уж такой, прости господи, «жоношник», как в атаку, так он и отстанет и спрячется где-нибудь сзади. Он насмешил нас этим словом «жоношник», так выходило оно у него характерно. Его самого жена уже записала в поминание, думала нет уже в живых. Священник сказал, что ничего, пойдет во здравии, если жив.

Полковой священник прислал папе с мамой очень хорошее письмо, я его письмо не видела. Брат Леня служит в солдатах в Сибири, во Владивостоке. Он кончил не всю гимназию, его взяли в лавку торговать. В Сибири было не так много грамотных солдат и он попал сначала в писаря, а потом в интендантство, где дослужился до чина подполковника, кажется, оттуда попал в Москву.

Ваня в солдаты не годился: узкогрудый, глуховатый, он был забракован. А война все шла и шла. У нас было взято несколько служащих, их семьям выплачивалось половинное

жалование, а некоторым и целое. Дошла очередь и до Васи. Он уже тогда был ротником запаса. С ним вместе взяли и его сослуживцев из приказчиков Балабонина и Белопухова писаря. Сначала отправили в Кострому, в лагеря. Туда я приезжала с ним повидаться. Выглядел он солдатом бравым, потом их роту переслали в Москву. Там сначала он сопровождал транспорт к фронту, а потом остался каптенармусом при артиллерии: разбирал старую солдатскую одежду, выдавал новую. Потом доверили ему получение и раздачу посылок для солдат. У меня сохранилось несколько писем от того времени. На мельнице его заменил Яков Иванович.

Вот открытка из Карачёва 26 сентября 1915 г.: «Дорогая Дуня, вот я и побывал в Карачёве; сдал свой транспорт и теперь с первым отходящим поездом отправляюсь в Москву. Нагляделся в пути на многое. Сколько идет здесь беженцев! И всё какая беднота, посмотреть страшно. Вокзалы 3-го класса переполнены солдатами и беженцами, нельзя найти свободного места посидеть, а стоять, так бока растолкают.

Сегодня был большой мороз, ночью калужины замерзли, а большинство беженцев, в том числе и ребятишки – босоногие. Город Корочёв порядочный.

Твой Вася.»

Москва 29 февраля 1916 года.

«Милая дорогая Дунёк, поздравляю тебя с днем Ангела и желаю здоровья, спокойствия и всего хорошего. Детишек поздравляю с дорогой именинницей. Вчера писал тебе, что немного хворал, теперь полегоньку выправляюсь. Здесь в батарее стал формировать 36-ую бригаду. От нас возьмут до 400 человек, кроме того писарей 7-8 человек. Малоросса, которого я хвалили тебе, произвели в чиновники, и он тоже уходит. Его жалко, товарищ он хороший. А другие писарая не назначены, вероятно будут молодые. Идет слух, что от нас возьмут всех офицеров, которые не были на позициях и заменят их ранеными, в том числе и моего заведующего хозяйством. Но это пока еще слух, как он оправдается, покажет будущее.

Только что вернулся из побывки солдат Калужской губернии и рассказывал про житье в деревне и как там отбирают коров по 5 рублей за пуд мяса, а мужиков отправляют рыть окопы. Утешительного в рассказе нет ничего, кроме печального, лучше говорит не ездить домой, по крайней мере, не видишь ничего. Вообще затрагиваются жизненные интересы народа. Идти дальше, пожалуй, некуда. У нас здесь пока всё благополучно, занятия идут все тем же порядком. За эти дни при хворости много про вас думал. Ведь я, мамок, страшно люблю тебя и ребятишек и чувствую себя здесь одиноким. Сходить еще не пришлось к Лёне и Иосифу Васильевичу. Теперь еще зубы побаливают, хочу лечить.

До свидания, милая.
хныкалка, кашляй Василий».

Твой

«Маленькой Дуняшке письмецо от папы. Спасибо, дорогая дочка на своем письмеце. Я его читал с удовольствием, а также очень рад, что ты помогаешь маме и возишься с Володенькой. Ты ведь умная девочка и добрая, и впредь подсобляй маме, за это я тебе куплю и привезу большую шоколадную конфету. За меня поцелуй Володеньку и вели ему быть послушным мальчиком и не рёвой. До свидания. Твой папа.»

Москва 11 мая 1916 года.

«Милая дорогая Дунёк, проводив тебя довольно рано добрался до казарм и лег рано спать. На другой день был годово́й праздник. Я с 4-х часов пошел посмотреть на гулянье, были сначала солдатские разные игры с призами, посмотреть было интересно; в 7 часов ставился концерт. Устроена была небольшая сцена, выступал фокусник, пели хором и соло недурно. Играли на мандолинах и гитарах, и плясали, а под конец показывали картины кинематографические, смотрел до 10 часов вечера, всё еще не кончили, время прошло незаметно. А вчера и сегодня идет дождь. Пришел Кирилл и заболтались до 11 часов. Пора и спать. Чувствую себя в кругу массы

солдат как-то приподнято, как будто участвуешь в происходящих мировых событиях, и это облегчает положение.

Особенно это почувствовалось на празднике в батарее, когда собралась вся бригада, при свободном гулянии без строя и команд. А народ, посмотреть всё какой здоровый, цепкий и на всё способный и всё простые солдаты, есть такие ловкачи, что приходится удивляться. Ходил больше один, наблюдая со стороны. Как то ты доехала, милая, до Шуи? Как чувствуешь себя? Хорошо ли погостила? У тебя все старые переживания, люди все старые встречаются, не захватывают тебя новые впечатления, не так, как меня. Не тоскуй. Постараюсь к тебе приехать через месяц. Целую ребятшек и шлю им солдатский привет. Тебя крепко-крепко целую. Твой Вася».

Москва 21 ноября. Отрывок из письма

«Сижу в батарее, подрабатываю кое-какие дела, а завтра еду опять за посылками и весь пробуду на ногах, а потом на раздаче солдатам. Печь начали хлебы из купленной мною муки. Хлеба оказались хорошие, объявили цену в лавке 10 копеек за фунт, так что моя покупка не прошла даром. Однако солдаты пользуются дешевкой. А то цена до этого была по 16 копеек за фунт».

Васю стали посылать за покупкой муки.

Москва 10 декабря 1915 года.

Милая моя, Дунек, позавчера получил твоё письмо. В приют Лебединской муки советую дать мешок, а об остальной, пожалуйста, не беспокойся, для своего обихода полагается иметь годовой запас, да кроме того, придется дать кое-кому и потому кроме добра ты своим запасом никому не сделаешь, а потому, пожалуйста, не бойся. Если кто спросит, скажи, что муж заготовил для семейства.

Твой

Вася.

Вот моё письмо. 13 декабря и год не поставлен.

Милый Вася, у Наташеньки жар прошел совсем и горло зажило. Когда тело начнет шелушиться, тогда только я уверюсь, что у нее была скарлатина, а Александр Андреевич утверждает, ему больше знать, сижу с Наташей взаперти. У меня, нет-нет, да сердце кровью обольется при мысли, что кто-нибудь может захворать сильнее. Вот Володюшку не заставишь полоскать горло и он не дается смазывать. Наташа захворала с 7-го на 8-ое в ночь, стошнило ее и заболело горло, вот уж 6-й день и идет. Говорят, что гимназии скоро распустият, в городе много скарлатины. Милый, милый Васек, приласкаться бы к тебе немножко и всплакнуть. Спасибо тебе за письмо от 10-го, меня всегда успокаивают твои письма. Вчера дворник купил березовых дров на 39 руб. за сажень —

тройник. Хотел завтра прийти печник, заняться печкой. Что это было в Москве два дня, о чем запрещено писать в газетах? (Я прочла это в Русских ведомостях). Ребятки все веселенькие, гляжу на них из окошка. У Володюшки ухватки солдатские, только голосок нежный. Вчера сгорела мастерская столяра Смирнова. Дай тебе бог всего хорошего.

Твоя

Дуняшка.

Москва, 5 февраля 1917 года.

Милая моя, дорогая Дуничка. Твое письмо одно получил. Еще только неделя прошла, как я приехал, а уже не прочь бы с тобой увидеться. На этой неделе кроме Лени никуда не ходил. Людей в батарее мало, поэтому посылок и переводов шлют меньше, да и помощник у меня стал привыкать, кое-что поделывает. Больше читал газеты и один шелобродил. На лице у начальства я ведь – трус. На воле холодно и вьюга, идти некуда не хочется. Дубликаты на муку, купленную мной, получили и мука скоро придет. А Балабонина вагон уже пришел и уже начали его. В городе больше хвосты у булочных и мясных лавок, да при таком-то холоде. Купить хлеба стало большим трудом для горожан, что-то дальше будет. Тебе советую купить постного масла, не дожидаясь поста, а то и с этим продуктом будет тяжело. В повале у меня не холодно, укутаюсь двумя одеялами шинелью, таково тепло и сплю без просыпу. Разговоров у солдат на экономические

темы нет, только бы каждому не попасть на позицию. Но большинство думает, что война летом должна кончиться. Завтра еду на Главный почтамт за посылками, значит, день пролетит быстро, так туда приходиться ездить 5-6 часов. Масленицу придется проводить здесь, так как отпуска запрещены.

Кланяюсь ребятишкам, крепко целую тебя и вспоминаю.
Твой Вася.

18 февраля 1917 года.

Милый Дунек, здравствуй. От тебя было письмо за заявлением по подоходному налогу, но в нем было мало написано. Ты как будто немножко нервничала. Я провел неделю неважно, дел было мало, время шло туго, не весело. Тебя вспоминал, хотелось бы хоть немножко поговорить с тобой, но ведь совестно сознаться, что через три недели уже начинаю скучать о тебе. Вероятно, в понедельник схожу к Лене, проведаю, как они живу, как съездили домой и что видели. Вагон муки, купленный мной, пришел только сегодня, и перевезли его тут же.

В батарее нового ничего нет. Предполагаются большие формирования. Относительно поездки моей в Самару еще неизвестно, но думаю, что на следующей неделе отправят. Мамок, пиши, не надо ли чего прислать. Как то вы привыкаете без водопровода, а дров покупай, чтобы на лето хватило

свободно. Пожелав тебе доброго здоровья и на душе спокойствия, крепко тебя целую. Ребятишкам и Володеньке по большому поклону. Твой папок.

В мае прислали мне из Шуи, чтобы я приехала; маме хотелось съездить в Судогу к замужней уже моей сестре Мане. Я еще у нее не бывала, мне и предлагали съездить вместе с мамой.

Приезжаю в Шую и первый, кто меня встретил, была Люда (жена Сани): «Забирайте папу с мамой и отправляйтесь назад в Кинешму». Я ничего не могла сообразить, что такое случилось. Оказалось, что накануне громадная толпа народу собралась на базарной площади, ходила по лавкам, искала хлебных запасов. Привалила и к нашему дому. Толпа была возбужденная, много неладного говорилось. Про одних купцов кричали: «Задушим их, убьем». Про папу: «Ему только глаза выколем, у него сын убит на войне». Другие кричали. Что не его хоронили, что он в плену, что обман был. Рассказывали мне. Что папа вышел к народу на..... при лавке и сказал, чтобы выбрали пять человек, всем нельзя идти обыскивать и чтоб они осмотрели всё. Из толпы выступил один из вожаков. Ему папа объяснил положение, показал остатки, счета и телеграммы, объяснил, что в Кинешме было

куплено два вагона муки, но запоздали с приходом: не отправляла железная дорога. Это не наша вина. Внимательно выслушав папу, вожак объявил об этом народу. Толпа поуспокоилась. Ворвались только бабы, лазали в подвалы, на сеновалы, в конюшни, от складов дали им ключи, были в саду, где протыкали землю. Ну, конечно. Ничего не нашли, потому что нечего было найти. Папа сам указал оставшуюся муку в лавке в....., высыпана была для себя и служащих и ту обещал давать по 10 фунт. Папа говорил про баб, что их неволя заставила бунтовать: «Пойдешь, как жрать нечего станет!» Другая семья только черным хлебом и жила. Он заявлял в Городской Управе. Что немного остается муки, ему не верили, толкался туда-сюда, но вагонов не давали. Папу возмутил при обыске один полицейский, который сам орал, что у них припрятано не бойсь. Хотел папа составить на него протокол, да уж не до этого было, да и подумал, что он сам верит в то, что говорит.

Ходила толпа обыскивать двор у помещика и у родителей Люды и всё с угрозами. Слушала я эти рассказы и мне вспоминалось, как хоронили Сашу, какая масса народу была (боялись, что мост провалится) когда несли его тело с вокзала. А теперь его отцу угрожают выколоть глаза. Горько было. Ждали и в этот день после смены на фабриках, что опять придут. Народ кое-где собирался кучками. Прислуга пугала маму рассказами, но всё обошлось благополучно. К вечеру мы с папой отправились в закрытой пролетке на вокзал. На углах улиц встречались угрюмые темные лица слесарей. На вокзале

я усадила папу за печкой в углу и загородила собой. Чувство подымалось, не было у меня страху, хотя и в угол заглянул один с усмешечкой в глазах. Уже после нас пошли по улицам солдаты в боевом порядке и всё затихло.

Папа говорил, что вожди лучше толпы и будто бы один сказал ему: «Я знаю, что вы честный человек, Иван Иванович!» У нас связывают это с именем Фрунзе, но так ли это, не знаю. Но нет дыма без огня. Видит бог, что я не из своей головы это выдумываю. Сестра Анюта прежде участвовала в каких-то сходках, полицейский доносил об этом папе, но тот ответил, что молода еще, вырастет и образумится. Анюта уже училась в Ленинграде, на медицинском факультете и в войну была сестрой милосердия в госпитале. Закончить университет ей не пришлось.

Вот письмо Василия Ивановича из Москвы 18 марта.

«Милая, дорогая, мамок, я уже из Нижнего приехал сегодня, муки и там не оказалось, завтра посылают в Ярославль, там у Салазкина есть мельница, может даст. Съездить если не далеко, не тяжело и разнообразие большое. В Нижнем виделся с Гуровым, Колесниковым и Петровых Ан. Сам. доверенные хлебных фирм, время прошло там хорошо, народ всё был знакомый. Сегодня здесь ходил к Лене, посмотрел на молодых, полюбовался ими и пошел в хорошем настроении к себе в казармы. Здесь нового нет ничего, жизнь новая в батарее полегоньку налаживается, думается, что пройдет по-хорошему и дисциплины будет достаточно.

Только офицерству трудно вато перевоспитывать себя, им трудно на товарищескую ногу встать с солдатами, что-то у них не выходит. Вы как живете? Я не получал от тебя писем со времени отъезда. Здоровы ли? Ведь скоро Пасха и не видать как время проходит. На воле тепло, сильно тает, весна в разгаре, в городе уже снега нет. А у тебя забота, надо погреб набивать, воду со двора проводить, а мне и подсобить нельзя. Ребятишкам шлю привет и пожелание расти и веселиться. А тебя крепко целую и обнимаю.

Твой Василий».

Солдат стали распускать домой, пришел и Василий Иванович. Мы не все понимали, что творится. Вот передо мной Ваничкин дневник.

30 сентября. Сегодня к нам приходили солдаты, милиционер и техник. Искали муки, были в подвале, погребе, бане, в сарае, на чердаке, но ничего не нашли. Сегодня у меня вечером было жару 37, 3.

8 октября. Я прочитал первый роман: «Из Парижа в Бразилию» из той книжки, которую принесла Аня из гимназии; мне очень понравилось. В воскресенье вечером к нам приходил дядя Яша, играл с нами в жмурки. Когда ему приходилось ловить, он опускался на колени, чтобы мы не подлезали у него под руки. Перед уходом он пел песни, аккомпанируя себе на пианино, а мы слушали. Теперь я начал учить французский язык и уже немного слов выучил. Температура у меня теперь всё нормальная, уж видно конец

пришел моей хвори. Сегодня вечером мы с папой разговаривали про пули, шрапнель и другие снаряды. Папа нам рассказал, что когда он был в том доме (у братьев) солдат выстрелил нехорошо и попал в оконную раму, в столовую, где сидел папа и дядя Паша; пуля попала в стену, отскочила и разбила стул.

7 ноября. Сегодня ночью нанесло много снега, на улице было холодно и по Волге шли льдины. После чаю Наташа, Володя и Дуня с мамой пошли гулять, мне тоже очень хотелось, но мама велела подождать недельку. Я всё смотрел на них из окна, как они катали друг друга на санках. Сегодня Аня, Люба и Наташа не учились. В гимназии был молебен. Люба уходила на урок музыки. Наташа гуляла, а на молебен не ходила, только Аня. Вечером приходила Настя и Наташа Альтовские и мы поиграли с ними.

13 ноября. Сегодня наступила оттепель, лил дождь, и снега стаяло много. Вчера мама с папой ходили подавать списки и подали за кадетов. Я, Аня, Наташа и Дуня играли в карты: в пятки, мельники и другие игры. Я много раз оставался в дураках. Мне что-то не везло. Вечером я всё пытался выпрямить у папы согнутую руку, а папа не давал, и вдруг опустил, и я кувырком полетел на пол, ушибся, ушел в зало и там поревел.

19 ноября. Сегодня утром я кончил делать стенные часы из бумаги, такие, что каждая стрелка переводится отдельно и показывал маме с папой. После обеда папа с другими пошел

гулять на Волгу. Там по льду уж е ходили люди. Я даже совсем и не думал, что меня сегодня отпустят погулять. А мама пошла со мной, только не на Волгу. Я надел вторые чулки, теплый лиф и шапку с ушами, сперва как-то было боязно идти, вдруг как опять простужусь и опять придется лежать. Но когда вышел на двор, у меня весь страх прошел, было сухо и тепло. Сначала я сходил в сад, осмотрел на дворе гору, а потом пошел с мамой на бульвар. Оттуда мы увидели на Волге папу с другими и маме показалось, что лед их не сдержит и она замахала им руками, чтобы они вернулись, а они не послушались и пошли дальше. Градусник вечером у меня показывал нормально.

5-е декабря. Сегодня после занятий французским, стал читать книгу Чарской «Лесовичка». Она мне очень понравилась. Я так зачитался, что до обеда уж всю прочитал. В воскресенье я, Наташа, Дуня, и Володя с мамой ходили на гору, около нашего дома, которая спускалась на Волгу, и там катались на санках. Кататься было очень хорошо, особенно на железных. Они ехали дальше рельс.

7-е декабря. Утром Люба, Аня и Наташа возили со двора снег на нашу гору, откуда на одних старых больших санках, на которых был поставлен ящик, откатывались вниз, причем я, Дуня и Володя садились в ящик, а папа позади ящика. Кататься было очень хорошо, маме и то понравилось, как мы катались.

11-е декабря. Вчера после обеда к нам приходила Шура Градовцева и Ваня Погодич. Мы катались с горы задом, сперва было страшно, а потом весь страх прошел. К папе кто-то приходил и говорил, что большевики будут обыскивать.

17 декабря, воскресенье. Наташу, Аню и Любу распустили в пятницу, я и Дуня тоже не стали заниматься. Теперь мы всё катаемся с горы. Недавно Наташа и я заметили в снегу отверстие под досками, мы его расширили и влезли туда, иногда вход закрывали досками, у нас стала потайная пещера.

24 декабря. Сочельник.

Мама с Аней и папой уходили в церковь. Потом мы пели «Рождество твое Христос Боже наш...» Володя тоже пел. У него выходило смешно: «Рождество Христос Божия наша». И мы все смеялись на него. Сейчас пишу дневник, так и хочется, чтобы время скорее прошло и наступила ночь, чтобы положить под подушки всем подарки.

17 января. Теперь я и Аня делаем крепость, погода стояла теплая и снег хорошо ложился. Недавно папа нам к снегурочкам приладил дощечки и мы стали их привязывать к валенкам.

После обеда Аня уходила учиться во вторую смену. Я из-за болезни не учусь, доктор велел год пропустить. А я бы теперь учился во втором классе реального. Хоть гулять и хорошо, но очень не хочется отставать от товарищей.

Вот Ванечкино сочинение: «Как мы проводили зимние вечера».

Часто мы с папой в зимние вечера плетем лесы для нашего перемёта. Мы хотим сделать перемёт уд на четыреста.

Я, Аня и Наташа недавно научились плести лесы и привязывать к ним крючки. Сначала у нас волос никак не крутился, но потом мы научились. Когда плели лесы, мама нам читала: «Фрегат Палладу» Гончарова. Плести и слушать очень хорошо. Мама читала о том, как путешествовал Гончаров на парусном судне по морю. Как был он на мысе «Доброй Надежды», какие там горы, как был на острове «Сингапур» и как там жарко.

А еще бывает – папа ляжет на Анину кровать, а мы все вокруг него расположимся и начнем разговаривать. Как мы весной и летом станем ловить рыбу, да вдруг поймаем стерлядку или леща фунтов в пять. Какое наслаждение разговаривать с папой. Бывает, очень не хочется идти спать.

7 февраля. Перед обедом я с Аней пошли кататься на лыжах. Я два раза полетел, раз тихонько, зато второй раз здорово. Аня говорит – очень смешно, прямо лицом в снег. Аня тоже упала и обо что-то коленку расшибла. После обеда я и дедушка ходили гулять на Волгу. Я опять на лыжах. Там было очень много куч льда, в них воткнуты палочки и около каждой лежит камень с навязанной веревкой, а веревка спускается под лед. Только дырки не видать. Видно, тут рыбу что ли ловят. В одном месте дедушка разговорился с каким-то

мужиком. Он стоял около проруби и давал проезжающим лошадям пить воду. За это ему давали кто полено, кто клочок сена, кто пятачок, а кто и ничего.

Он говорил, что мука на базаре нынче по 90 руб. за пуд. До чего дорого. Это выходит по два рубля за фунт. Дедушка спросил его про Челнокова, мужик сказал, что Челноков живет на даче один одинешенек и прислуги нет никакой, и корову сам доит. Потом мы видели около той стороны ямы какие-то во льду и оттуда мужики лопатами выгребали песок в кучу. Сказали они, на фабрику возят по 80 коп. за воз. Потом пошли домой. Недавно папа сказал, что с мельницы записались в красноармейцы 16 человек. Им должна и мельница платить, да и в Совете солдатских и рабочих депутатов. Их позвали учиться на межаки, а им не захотелось туда ходить. Положили все ружья в склад и не стали красноармейцами. А один даже после этого исповедался.

Наступило тяжелое время в России: пошли забастовки, поиски хлеба, на фабриках выступали большевики. Но Ваня, слава богу поправился. Прошли выборы в Государственную Думу. Ванечка уже стал кататься на санках и коньках не только во дворе, но и с горы на Волгу. А я с радостью глядела на его разрумянившееся личико. Володя растет крепкий и забавный. А внутренняя борьба идет, одолевают большевики. Дети спрашивают Володю: «Володя, ты большевик?» - «нет». «Кадет?» - «Нет». «Кто же ты?» - «Я Володя шемякин». Ему

уже 4 года. Он дразнит Дуню: «Дуня, ты пролетарий, у тебя 3 копейки, а у меня полтора рубля». Это ему сказали, а он повторяет. По вечерам стало страшно ходить по городу. Ожидаем обысков. У Вани в дневнике записано: ночью грабили лавки, 4 человека убито, несколько ранено, страсти—то ведь какие! А мы сердешные всю ночь спали — ничего не слышали. Утром узнали, что к нам в 4 часа утра сторож стучался, вы, говорит, спите, а там стреляют.

А хорошо, что мы не очень волнуемся. Мама говорит: «Жить будем жить, а умереть так умрем».

9 февраля. Сегодня вечером, когда мы читали, кто-то позвонил в парадное, мы все побежали наверх. Видим, идут 5 человек большевиков, трое с винтовками. Они спросили папу (а он был в комитете). Мама за ним послала, он пришел. Большевики потребовали, чтобы мы еще дали денег в Совет. Папа сказал, что уже отдал четыре тысячи куда-то. Говорят: «Деньги должны внести в Совет». Один уж больно нехорош был. В конце концов, ушли. И так чуть папу не арестовали. Ох уж эти большевики. Как им не стыдно? Вчера хотели взять тот дом (дядин) под солдат. Да, не взяли, не понравился. А сегодня наш взяли. Уж лучше бы там брали. Мы пустили бы дядю пашу и дядю Яшу к себе.

Сегодня утром, часов в 11 пришли к нам трое и сказали, что будут осматривать дом. Осмотрели и ушли. Я пошел на мельницу, мне папа велел отнести туда уделать чайник. Отдал,

посмотрел на машину и пошел домой. Смотрю, у ворот стоят те же трое и звонят. А звонок-то в дворницкую, а там Николай теперь живет. Я отворил им комнату, она была не заперта, только они не сумели отворить щеколду, надо было опустить, а не поднимать, у нас особенная. Они прошли, я за ними и погрозил им кулаком. Наверное. Какое-нибудь несчастье принесли. Так и есть. Большевики сказали маме, чтобы к трем часам верх был опростан для солдат, а потом и низ. Мы с Аней заплакали. Мама побежала за папой. Он пришел, дядя Паша, дядя Яша, рабочие с мельницы и стали таскать всё сверху вниз. Мы тоже таскали. Обедать мы стали на кухне: столовая, кабинет были завалены всяким добром. После обеда приехали лошади и рабочие стали возить мебель и сундуки в тот дом к братьям в палатку (один небольшой сундучок с приданным бельем мама отправила в контору при мельнице). Часа в 4 пришли солдаты и заняли верх. Стали там колотить, шуметь. Мы легли спать в папином кабинете.

Сундучок с приданным бельем сохранился и всё в нем осталось цело, хотя было не заперто. А в палатке всё конфисковали. Приданую мою лисью шубку и ротонду, ильковую шубу, которую завещал Ване Иван Иванович и пианино отправили на сохранение к Лакомниным (они приходились Вале с родни, за его двоюродным братом была Лакомнина). Пианино нам было возвращено, а про шубы сказали, что украдены.

25 февраля. Вот мы уже в Плесе. Вчера вечером приехали на двух лошадях. На одной – багаж, на другой – мы. Ехали – я, Володя, Дуня и няня Лида. Папа на козлах правил. Это была первая поездка в Плес зимой. Дорога была очень плоха, все рытвины, того гляди, перекувырнемся. Был ветер очень сильный, особенно в поле. Но мама нас закутала хорошо. На мне так всего было много, что нельзя было повернуться. За нами ехала лошадь с багажом, чесала свою голову о нашу кошеву. Дуня всё боялась ее и кричала Лиде, чтобы она отогнала лошадь. Володюшку скоро укачало и он уснул у Лиды на руках и проспал часа два. Во время дороги у меня очень озябли ноги, хотя на них были трое чулок. Я два раза пол совету папы вылезал из кошевы и шел за ней, чтобы согреться. Один раз в деревне Погрельцы, где поили лошадей, другой раз в поле. Чтобы сократить путь, мы переехали через Волгу. Деревни Антропиха, Яришкино, Горки, Приезжевка, Ватаги, Погорельцы, Заболотье, Строжево проезжали мы. Видели издали села: Новлянское и Семеновское. Наконец и Плес, въехали во двор, вылезли и дома. Там всё бегали, чтобы согреть ноги. У меня скоро согрелись, а Дуне их растирали, она плакала, видно ей очень было больно. Мы попили чаю с мёдом, я съел пять пирожков, которые мама дала на дорогу, а затем легли спать, не поужинавши. Когда легли, Володя сказал Лиде: «Ты, Лида, скажи когда уснешь». Мы посмеялись. Сегодня папа уехал за мамой. А Люба, Аня и Наташа пока будут жить у дядей в том доме, им надо учиться. Сегодня мы сходили к Боканину, купили фунт зерен за 80 коп.

(в Кинешме 100 коп.) и две маленьких шоколадных плиточки по рублю. Они очень вкусные, а в Кинешме совсем говенные.

Я до последнего времени всё надеялась, что нас не выгонят из дома, а только уплотнят. Ленин не выгонит шестерых малых детей из дома, только уплотнит, говорила я «Это всё местная власть». Сколько я спорила с другими, говоря» «Владимир Ленин не поедет в запломбированном вагоне». Это писал Чирипов. Я всё крепилась, не плакала, когда нас согнали вниз. Но когда на другой день пришел к нам Иван Дмитриевич (муж Надежды Ивановны) и заявил, что лошадей не дадут из того дома (лошади были общие, только стояли на том дворе) так как Павел Иванович сам поедет в Плёс к невесте, я не выдержала и раскричалась: «Родные хуже чужих!» И вот, проводив Василия Ивановича с маленькими детьми в Плёс, а Аню с Любой и Наташей в тот дом, я осталась одна в дворницкой с кухаркой Катей. При мне были иконы, которыми благословляли меня родители и еще кое-что. Здесь навестил меня и благословил Владыко Василий. Он и прежде бывал у нас раза два, всё говорил: «Торопитесь делать добро». В сарае оставался ящик с любимыми книгами, которые я еще надеялась взять с собой. Дом был полон солдат. Мы сидели, запершись на крючок. Вдруг начали колотить в дверь, что есть мочи: «Отворяй, подлая!» Голос пьяный, рвали дверь, чуть было крючок не сорвался с петли, но кто-то подошел и уговорил солдата уйти.

Первого марта в свои именины, я ехала с Василием Ивановичем на лошади в Плёс. Мы поселились там в трех комнатах, другие занял Павел Иванович. Он надумал опять жениться на Плесской Кошкаревой Н.Г. Первая жена его бросила, взяв с собой одну дочь, другую, Люсю, оставила ему.

Из дневника Вани в Плёсе.

1 – 4 м. Сегодня конец Масленицы. Вечером ее жгли. Я, папа, Лида, Володя и Дуня ходили смотреть. Видели 8 Маслениц. Прошли по базару и спустились на Волгу к самой большой маслянице. Там была навален куча разных корзин, ящичков и посреди всего этого хлама возвышалась ёлка. Было очень ветрено, в лицо бил снег. Володя скоро озяб и ушел с Лидой домой. Только они ушли, ветер стих и мальчишки зажгли масленицу. Папа позвал нас поближе. Мы подошли. Дуня очень боялась подойти близко, тащила папу назад: «Папочка, ближе не надо, папочка, ближе не надо». Мы дошли почти до самого костра. Там было жарко. Мальчишки пели песню: «Здравствуй, здравствуй, наша масленица, Не видала ли ты Герасимыча? – Видела, видела в Красном за маслом, да Боговой витушкой, за поповым калачом! Как коровы калачи, как огонь горячи, с пылу с жару, по копейке пару. Ельник – березник, чистый понеделник!» Поглядели и пошли домой. Жили, жили себе в Кинешме, мечтали приехать летом сюда, а попали зимой. И всё это устроили большевики к маминим и Дуниным именинам.

7- 8 м. У меня с Дуней большая радость, завтра приедут Люба, Аня и Наташа. Так вчера решили папа с мамой. Ученье там разлаживается.

Вот Аня пишет Ване от 8-го марта из того дома, где остался с ними только племянник Василия Ивановича, Александр Яковлевич Кузнецов, парень 20 лет. Мне здесь неплохо. Теперь совсем, то есть скромного не едим, надо досыта наедаться. Шура, как солдат, ест не стесняясь. «Не посрамим земли Русской и губернии Костромской!» - возглашает он над кашей и от нее ничего не остается.

К вечеру кто-нибудь приходит в гости к Шуре и рассказывает события дня. Тут один золотых дел мастер в пенсне (Шура забрался на кушетку) и кричит: «Товарищи, надо за буржуев приниматься». При слове «товарищи» Шура задирает кверху голову и орет, как самый настоящий оратор. Мы с интересом все слушаем, а мама боится за нас, и уже пишет: «Приезжайте в Плёс». А как же учиться?...

Из Ваниного дневника.

К на приехали Люба, Аня и Наташа в субботу, писать всё как-то не пишется. Сегодня папа уехал в Кинешму, ему

сказали по телеграфу, что наш дом горел, там лопнула печка. Вот узнаем, когда приедет. Стоят морозы градусов 20. Сделался наст. Мы бегаем по нему. Сделали яму и стали через нее прыгать. Не обошлось без приключений. Люся прыгнула, у ней нога задела за край и она полетела, стала вылезать и опять слетела. Мы уже смеялись, смеялись.

Я теперь занимаюсь по утрам. Папа мне хотел привезти ящик с моим добром. Оказалось, что солдаты так нажарили печку, что она лопнула и загорелась перегородка. А народ начал болтать, что подожгли. Василий Иванович увидел проломленную крышу, окна без стекол, развороченный в зале паркет. Он заделал рогожами окна, починил крышу. В доме уже не было солдат.

21 марта. Мы на этой неделе говеем, в пятницу станем исповедоваться. Мама не будет. У нее болит живот. Сегодня на бр. Шемякиных наложили большевики контрибуцию. Ох, уж эти большевики, и в Кинешме и здесь!

3 апреля. Теперь уже настоящая весна. Наверное, скоро пойдет лёд. Воды на Волге прибыло очень много. Папа поставил метку, вода прибывает каждый час больше чем на вершок. Сегодня разбирали мост через речку. Вчера мы с папой подошли к закраине, там мальчишки катались на льдинах. Вот двое встали на маленькую льдину и заехали немного подальше от берега. Их льдина не выдержала и пошла ко дну, а они очутились в воде. Другие закричали:

«Тонут, тонут!» Но они выдрались из воды и отделались тем, что почерпнули сапоги.

16 апреля. Лёд прошел 11-го, мы уже давно ставили морды. Нам даже попадались большие налимы. Теперь мы каждый день едим уху. Вчера нам попались три налима, щуренок, окунь и еще много ершей да разной рыбешки. Вчера мама ненадолго уехала в Кинешму. Мы её провожали и махали платками. Был очень большой дождь.

28 июня. Давным-давно я не писал дневника. Погода всё стояла хорошая, и писать не хотелось. Теперь мы ставим перемет. Вчера нам попался головань в 2 ½ фунта, а то всё подлещики, да один перемет мы потеряли, так и не нашли. Второй потеряли было, да вытащили кошкой. Мы все были в церкви и смотрели на венчание, первый раз. Папа был за отца, а мама наша за мать. После свадьбы пировали, большие в одной комнате, маленькие в другой. Когда пили вино, кричали: «Горько, горько!» и молодые целовались. Люсе новая мама надарила всего. Я с Аней сделал домик из прутьев. Пасха прошла хорошо. Только после Пасхи я захворал, простудился должно быть. Мы с мамой ездили в Кинешму к доктору. Он сказал, что у меня воспаление легких, прописал лекарств и мы уехали. Через 10 дней я опять ездил с папой в Кинешму, видел там бронированный автомобиль и пулеметы.

На пасхе приезжал Александр Сергеевич Костакин прятаться у нас от контрибуции. Пришли милиционеры на кухню, в дядя Саша думал за ним и выпрыгнул из окошка в

садик, а оттуда через забор и убежал. А оказалось, что они приходили поздравлять с праздником и получить на чаёк. Мы потом долго искали дядю Сашу и нашли его на ключах, сидит под кустиком. Долго смеялись потом над ним.

Тут дневник его прерывается. Он поправился, но покашливал. Весной Волга, разливаясь, доходила до нашего забора и до дороги перед нашим домом, в подвале у нас стояла вода. Летом мы ездили за Волгу на лодке по грибы и ягоды. Там я сказала Васе, сидя на бережку: «Вот не гулял бы ты так, не наслаждался бы природой, как бы ни мельницу». А он мне ответил: «Дело то было уже налажено и на время могли заменить приказчики».

На большевиков он не злился и говорил, что если бы вырос в других условиях, может так же поступил как они. «Во мне это есть!» порой он становился раздражительным и сердитым. А я думала, что ничего мне не надо, только бы Ваня был здоров.

Перед пасхой еще всем торговцам в Плесе велено было явиться в Совет, их там задержали, требуя контрибуцию.

К Светлой заутрени Вася выпросился у комиссара Петра Геннадьевича Токова и он отпустил его на честное слово. Вася твердо его и сдержал. А потом и всех скоро отпустили. Но дальше всё становилось хуже, шли притеснения, хворал Ванечка. Питались мы уже тогда неважно, денег не было,

купить или выменять что-нибудь было трудно, частной торговли уже не существовало. Все, кроме меня, хворали испанкой, одни слабее, другие сильнее, Я ухаживала за всеми. Что будет, если я свалюсь, думала я. Ванечка не перенес испаник, 31-го октября его хоронили. Лёд шел во всю Волгу, в комнатах было холодно. Прощай, сыночек, мой любимый, гордость моя!

А первого марта, покатавшись на лыжах по Волге, вдруг захворал Володя. И одет-то был тепло. У Володюшки признали скоротечную чахотку, хотя он почти не кашлял. Умер он 10го марта. Прости и, Волюшка, ласковый мой сыночек. Родненькие мои, не забыть мне вас. Душеньки ваши со мной. Тоскую я по сыночкам, никак не могу примириться с их страданиями. Глазки их ясные, темно-серые. Описывать их болезнь и смерть я не могу, мне слишком тяжело и больно. А в памяти повторяется всё так живо. Родненькие мои! Ангел хранитель, отнеси им мою любовь и ласку. По словам Лиды, я стала совсем прозрачная, одни глаза остались.

Ходим с Васей на могилки к детям, я тосковала, винила себя, что не сумела воспитать их выносливыми и не сохранила их. «В жизни много случайностей, кабы знал, где упасть, соломки бы подослал, - говорит он, - не вини себя. Так уж должно быть суждено было». Вот и полгода прошло после смерти Володюшки, а я переживаю всё снова и снова. Надо быть бодрой, не нагонять тоску на других ребяток, чтобы они были жизнерадостными, а мужа не огорчать, говорила я себе.

Покоряться надо судьбе. Не было бы страданий, не было бы покоя.

Чтобы понять, что мы переживали в то время, я помещу здесь письмо к жене Ленина, написанное мной, но не посланное.

«Моё обращение к вам считают мечтой, но ведь и мечты иногда сбываются. Я знаю, что мужу вашему не до нас и надумала обратиться к Вам. Прочитайте моё письмо, будьте великодушны. Муж мой, Василий Иванович шемякин, бывший хлеботорговец, по инициативе которого была выстроена в Кинешме первая крупная мельница. Он происходил из мещан города Плёса. Полтора года тому назад без вины, мы были выгнаны из своего дома. Нас семья была: муж, я и шестеро детей. Несмотря на ходатайство мельничного комитета и крюшников нам не дано было даже отсрочки. Мы вывезли всё в палатку при братниной квартире и уехали жить в Плёс, взяв только самое необходимое. Без нас в палатке конфисковали всё наше имущество и мебель. В декабре приехала в Плёс Чрезвычайная комиссия и стала ходить по Плёсу. Приходят к нам в составе 5 человек с винтовками на кухню: один берет сковороду, другой чугуна, третий ведра, таз и т.д. Мы сказали, принесите бумагу и мы всё отдадим. Они начали стращать обыском, мы сказали, что обыску не боимся. Стращали, что отберут у нас много больше, мы ответили, что по декретам — пожалуйста, согласны выдать. Ушли, часа через два являются с ордером на обыск (27 дек.

1918 го) с комиссаром комиссии Соколовым. В результате у нас была сделана подробная опись имущества и конфисковано, что всего обидней для меня: ржаной муки 2 ½ пуда и 8 десятков яиц, как не просила оставить для детей, не оставили. Яиц у нас было с сотню, ржаной муки пуда 4. Мы все только что перенесли испанскую болезнь и один из мальчиков помер, другим надо было поправляться. Взята была кровать, хотя по числу человек и так их не хватало. Посылали жалобу в Ивано-Вознесенскую комиссию, до сих пор нет ответа. Живем, проживая последнее. Я получаю паек 3-й степени. Вот и второй мальчик умирает от скоротечной чахотки. Когда он лежит на столе, присылают за отцом чистить отхожее место и не оставляют в покое и дальше. Часто ночью являются милиционеры с требованием идти в комиссариат и там вручают пакет нести немедленно за 10 и более верст, никогда ничего не платя. Вытребование отца ночью без известной причины вызывает всегда в нас большую тревогу и отражается на детях. Прочитав декрет, что принудительных работ без вины, без постановления суда не должно быть, муж решил с пакетом не ходить и объявил причину: незаконность этого по декрету. И вот за отказ нести ночью в два часа, берут под арест мужа и отсылают к Серееде. Я страшно боюсь за него, помогите ради детей, горячо любящих отца. Может и для меня у Вас найдется капля сострадания. Потеряв двух сыновей, я не вынесу теперь потери мужа, здоровье моё пошатнулось и мужскую работу я

справлять не в силах. Пусть оправдается моя надежда на вас и вашего мужа.

Е.И. Шемякина

Весной, не помню через какое время, все-таки отпустили и он вернулся к нам. Только о комиссаре Токове П.Г. у меня сохранилось хорошее воспоминание: он, увидя, что в комнате лежит больной ребенок, не пустил с обыском в детскую других.

Потом в Плесе позатихло. Люба в это время жила в Кинешме у Альтвских, доканчивала учение в гимназии, ей уже немного оставалось до конца. Братья умерли без нее. Сестры учились в Плесе в училищах. Вася стал работать за Волгой в лесу на заготовке дров. Политические события глухо до нас долетали. Летом приехала Люба и стала жить с нами опять. Осенью поступила в сельскохозяйственный институт, бывший тогда в Плесе.

Была у нас лодченка, которую по ветхости не отобрали, папа с Любой стали на ней ездить в Кострому за картошкой, в Кинешму за мукой, ловить баржи с солью и приставать к ним, чтобы выменять соль, на которую можно было получить всё необходимое. Трудно было Любе ровняться с папой, тяжелую она прошла школу физической работы. Дрова запасали на той же лодке. Собирали сухостойки по оврагам и ольху

наклонившуюся уже в Волгу, обрубали веники, привязывали стволы к лодке и на плаву доставляли к берегу против нашего дома.

Одно лето Василий Иванович ездил в Горький за порожними мешками, выменивал их на соль, а я носила по деревням, выменивая их на муку, пшеничную крупу и т.п. Ходили больше в деревню Максимова около Шемякинской дачи. Там мужики были справные, да и урожай был хороший. Большая нужда была в порожних мешках. Выменяю, сложу в одну избу, а Вася потом приходит и переносит в Плёс. С мужиками перезнакомилась. Раз только один мужик замахнулся на меня, попался поперечный мешок, я и не понимала, что это плохо. Другие мужики заступились за меня: «Ей ведь это и невдомек. Приноси, приноси еще!». Была я тогда с Наташей. Поиспугалась. Вышла за деревню, села в поле у дороги и вздохнула.

У Любы была большая любовь к животным. Купили мы первотелочка маленького. Как вел его папа по льду еще через Волгу, нам из окна показалось, что он ведет собаку, так она была мала. А после выросла корова знатная. Плесяне величали ее ладьей, а мы Голубушкой. За ней ухаживала и раздаивала ее Люба. За сеном ездили тоже на лодке. Ножом и серпом обжинали кустики и кочки и запасали на зиму. И за брюквой ездили на остров для нее. И таскали мешки с ней через перебор, тут и я помогала. Стали мы с молочком.

Настало время НЭПа. Павел Иванович уехал торговать в Кинешму в компании с другими торговцами, стали привозить оттуда своей семье и пшеничную муку. А надежда Геннадиевна стала гордиться им, но скоро он захворал, в голове стало что-то у него неладно и пришлось ему возвращаться в Плёс.

А я иногда носила свои кофтенки продавать на базаре, чтобы купить детям обуви. Вася же хотел торговать, но видеть меня на толкучке было ему тяжело. Приехал из Кинешмы племянник Александр Яковлевич Кузнецов и бывший наш приказчик Иосиф Васильевич Тихонов и стали упрашивать его идти с ними в компанию, им надо было его имя и знание дела. И вот папа решил, хоть не с охотой, ехать. Мы продали в Костроме его золотые часы, мою брошку с красным камешком и бриллиантками, ротонду плюшевую осеннюю, одеяло, несколько золотых, сохранившихся еще в моей детской копилке и набрали для начала немного денег. Ездили за товаром, закладывали его в банк, я не знаю этих операций, только слышала от папы, что это помогало на первых порах, и вообще к Василию Ивановичу было доверие.

Сняли опять свою старую лавку и торговля пошла ходко. Вася жил в Кинешме на квартире у компаньонов, а я с детьми в Плесе. Люба и Аня обе уже учились в Сельскохозяйственном. Учителя были хорошие и подруг и товарищей много. Я жила их интересами. Научил Любу ухаживать за скотиной Благовещенский, читал увлекательные

лекции по зоологии Ане Геттерман. Люба успела кончить институт, а Аня нет. Его переделали в техникум. Аня поступила в Иваново-Вознесенский, там стало вскоре мест не хватать и ее как дочь буржуя вычистили. Училась она очень хорошо, способная была. Куда деваться? – послали ее на курсы иностранных языков, а Наташу на курсы бухгалтерии Ейзлера. В это время мы уже жили опять в Кинешме, около вокзальной рощи, внизу, квартировали у Второва. На Рождественских каникулах и летом у дочерей иногда собирались подруги и товарищи – те немногие, что остались от Плёса. Сохранился у нас патефон от старых времен и мы его часто заводили. Папа немножко злоупотреблял им, заводил часто, с улицы, наверное, казалось, что у нас очень весело, так думалось мне. Я беспокоилась, испытыв уже на себе зависть и недоброжелательство. Привезли мы из Плеса Голубушку, выкормленную от неё телку Любашу, прикупили еще молодую коровушку Ночку, и Люба стала ухаживать за ними и продукты от них продавать на базаре. Иногда выходила кассировать в лавку.

Скоро из Москвы приехали Аня с Наташей, последняя закончила курсы бухгалтерии, а Аня на курсах иностранных языков была только два года. Трудно стало с квартирой там, и получить место рассчитывать было трудно. Она стала продолжать образование дома, да подрабатывать шитьем. Она научилась в Москве и шитью и кройке за несколько месяцев. Но заработки у начинающих портних были плохие. Дуня доучилась в гимназии. При торговле мы приоделись. Но папе

скоро пришлось ее бросить, так как пошли сильные налоги, которые оправдать не виделось возможности, и он остался не у дел.

Ходила я опять с Васей гулять по окрестностям, только уставать стала, а ему бы всё ходить. Сидим раз у роши над обрывом на траве. На верхушке дерева над нами сидели две галки, я посмотрела на них, а они на нас глядели. Мне казалось, что между нами есть что-то общее, сходное, и мы понимаем друг друга. Я указала Васе на них: вот бы изобразить на картине этот обрыв и нас, сидящих под ним и этих галок, тоже парой сидящих на одиноком деревце.

На освободившиеся от торговли деньги, купли еще коровушку и сепаратор. Когда цены на молоко становились дешевые, в Великом посте, мы делали сливочное масло, сметану и творог, копили их, чтобы продать на Пасху и 1-ое Мая.

Вот стишок, сочиненный Аней о том, как мы сбивали сливочное масло в бутылках. Сбивает папа и Дуня, сидят друг против дружки.

Вернулась Дуня из хлева.

Эй, Дунька, занимай позицию.

Бей до победного конца,

Не потеряй амбицию!

Бьют с полчаса –

«Ну, как дела?»

«Ни годны никуда.

Не делается ни черта!»

А через пять минут:

«Ну, что?» - «Да ничего!»

«Всё булькает, не густо,

Чтоб было ему пусто».

«Мне думается, что тепло!»

«Ну, полно, слишком холодно!»

«Бей Дунька, не робей,

Всему придет конец».

За чаем вечерком

Мы отдохнем от дел...

И час прошел,

Не булькнет в четвертях

И нет просвета,

Дело швах.

«Ну, что?» - «Да, ничего!»

«Должно быть холодно,

Я верно угадал».

«Ура! Просвет! Бей, Дунька, бей!

Возьми воды немножечко подлей».

Вот полтора часа прошло.

Что за беда?

Бьем, бьем,

А сыворотки ни следа...

Ну и дела!

Ура! Готово! Отскочила!

Ну, наконец, соблаговолила.

Пошло дело на лад,

Масло вышло антик-мармелад.

(Это всё папины выражения).

По вечерам, летом, управившись с коровами, ходили дочери на Межаново поле играть в баскетбол. Говорят, они играли красиво и ловко. Участвовали в состязаниях на лодках, где пришли вторыми. Ходили к нам тогда, кроме подруг два

бывших Плесских студента: Василий Пазухин, статный, русский молодец и Лёня Захаров – небольшого роста, симпатичный, наблюдательный, неглупый парень. Вася Пазухин княжеского рода. Имение Пазухиных было недалеко от Кинешмы. Другой – сын рабочего с фабрики «Томна». Некоторое время папа и я считали его будущим женихом Любы. Между ними было, казалось, влечение друг к дружке, хотя они часто спорили между собой. Отец Пазухина тоже заезжал к нам. По виду простой мужичок. И тетя его, Екатерина Всеволодовна, пожилая, но красивая еще девушка. И отцу и тете, я видела, что Люба по душе пришлась. Мама у него всё болела. Люба и Аня навещали их раза три. Сестра Васи, Наташа, была подругой Ани по гимназии. Она похожа была на Лизу из «Дворянского гнезда» Тургенева. Где-то она теперь, милая девушка? Какова ее судьба?

Жили Пазухины бедно в то время, нуждались во многом. Дом, хотя и с двухсветлой столовой, разваливался, усадьба разорялась. Вася бывал чаще сестры, я уже видела в нем будущего сына и любила его. Но судьба сулила иное. В имение к ним приехал на дачу знакомый директор фабрики с женой и дочкой, и поселились у них в доме на всё лето. Дочь была юная, но некрасивая девушка. Няня и ее племянница знали ее и не хвалили. Житье вместе на лоне природы что ли подействовало на Васю, он стал ходить к нам всё реже, а потом посещения прекратились, только тетя Катя всё ходила, мы любили ее, а она Любу. Так и вышла Люба за М.Н. Стремянова в Горький, он приезжал в Кинешму к тете.

Человек он был нашего круга, но уже отслужил в Красной армии. Лёня Захаров не жениховался, а до конца был хорошим преданным товарищем, он погиб на фронте. Много тогда женихов было убито.

Люба была не красавица, а лучше красавицы: чисто русский тип – румяная, стройная, светло-русая девушка. Она наследовала от отца энергию, твердость воли, терпение в труде, имела простую добрую душу и веселый характер. Аня была немножко дикая, серьезная девушка, способная ко всему. Наташа сердечная. Дуня жизнерадостная.

Вот стали отнимать и коров. У нас отняли мою любимую Ночку и Голубушку. Когда их гнали вместе с другими по дороге к вокзалу, они вырвались на углу, прибежали к нашему углу и ревели. Догнали их и забрали опять. На службу дочерей не брали никуда. Долго добивалась Наташа, всё ходила на Биржу труда. Вот Анино стихотворение, посвященное Наташе:

На Песочной улице в граде Кинешме

Я в буржуев семье родилась.

Мой отец торговал, оба дедушки

И с торгов вся беда началась.

Хуже пытки иной отвечать на вопрос:

Кем отец до войны был, кем стал?

А я врать не могла, да и, бух, сгоряча:

«Дом имели, отец торговал».
Этот грех мне простить не могли:
Коль лишенец отец, так катись.
И закрылись мне двери контор.
Не тоскуй моё сердце, крепись...
Не найти мне по сердцу работы,
Так по силе, здоровьем найду!
Я на Волгу в артель грузить баржи,
Забыв все остальное, пойду.
И глядя на волны, ко всем равнодушные,
Под ласкою ветра и солнца лучей,
Я забуду судьбу горемычную
И гляжу на всех веселей.

Наташа и работала на погрузке.

Я стала озлобляться на детей. Деньги продолжали падать. В.И. купил по ликвидации торговли золотых, чтобы не остаться с пустыми бумажками. Я до золотых не дотрагивалась, считала не своими, а Васиными. Стали вызывать на работу домашних хозяек из лишенцев.

22 июня 1930 г.

На прошлой неделе меня вызвал милиционер и велел явиться на Биржу труда для назначения на принудительные работы. Отправилась, по ошибке вошла не в ту комнату, где принимали лишенцев, а где принимали равноправных граждан. Явилось человек тридцать. На возвышенности стали выкликать требования на разные работы, ответов не получалось. Это меня удивило: моя дочка Наташа прибежала за мной, нашла меня на Бирже. «Ты не туда, мама, попала». Пошли в другую комнату. Там записывал лишенцев инспектор труда. Женщин немного, передо мной прошли двое, представляя докторские свидетельства, отказали им в отпуске, говоря, что от частных врачей не принимают. Велели записаться на комиссию. За комиссию брали пять рублей, да за заявление брали два рубля.

Я подала бумажку, выданную мне на комиссии Окрздравотдела. Прочитав, хотел отправить ее до завтра, посоветоваться с кем-то. Спросил, выдать ли мне расписку в получении. Я говорю, не надо, я вам верю. Некоторые, из стоявших тут, сказали: «Нет уж, вы лучше выдайте расписку, а то еще потеряется». Я молчу. После некоторого колебания мне бумажку возвратили, сказав, что это бумажка настоящая. Там значилось: «Годна на легкий регулярный труд».

Прошло дня четыре, вызывают снова вечером, я уже легла спать. Явиться в милицию опять на работы. Утром пошла, подала бумажку. Назначили на полку огородов, велели дожидаться. Собрались человек семь слабосильных. Около

часу нас отпустили, наказав придти к пяти часам утра на огород Щербакова.

На другой день пришли, нас там не приняли, сказали, что приезжали главки и не велели брать. Опять в милицию, там нас послали на пристань, в контору Волгоразгруза, подписав, что команда слабосильная. Там нам предложили грузить дрова. Мы снова отправились в милицию объяснить, что такую работу не можем выполнять: ждали там три часа, велели придти к восьми часа утра.

И вот сегодня работали на погрузке корья в баржу. Работа на вольном воздухе и не грязная. Я делала ее сначала охотно, но к концу утомилась, стало больно грудь и ноги задрожали. Стала я уж поменьше брать корья. Тогда надсмотрщик обратилась ко мне со словами: «Больно мало накладываешь». Эти слова ввели меня в слезы и раздражение. Я не сдержалась, кое-что наговорила. Самолюбие ли это глупое или попорченные нервы? Теперь каюсь, мне неприятно, что не выдержала, и первый блин оказался комом.

А с утра было весело. Собрались все в милиции: то та, то другая что-нибудь расскажет. Одну вызвал комсомолец: «Приходи в угрозыск с одежей». «Зачем, я ничего не украла», - «Кто тебя послал?», - «Милиционер». «На работу, что ли?» - догадалась она и пришла за объяснением в милиции. Другая говорит: «К нам пришли в час ночи, велели явиться в ГПУ с постелью. Испугалась сначала, потом объяснилось дело». В милиции долго мы терлись в коридорах в ожидании, когда

нам найдут подходящую работу. Одна насмешила: «Хоть бы нас вместо инкубатора взяли цыплят высиживать. А то так болтаемся...» Какая-то бедно одетая всё говорила о корове и десяти цыплятах, оставшихся без призора. Она всё упрямылась идти грузить дрова – слаба. «Записывайся, - говорят, - на комиссию». Денег жалко. Пошла грузить, оттуда сбежала корову доить, потом явилась в милицию, ее за руку, да в камеру. Продержали два часа и выпустили. Со мной работала еще лишенка 34 лет, по виду ей дать пятьдесят. Она, записываясь, сказала: «Меня записывайте куда хотите, ваша воля, записываться на комиссию не буду». Начальник милиции записал ее в слабосильную команду вместе со мной.

23-го. Сегодня снова работала на погрузке корья, устала меньше. Долго дожидалась расплаты, не было мелочи, потом стояли в очереди за хлебом.

24-го. Выгружали тес из баржи. Ходили по наложенным наспех доскам, они подгибались под нами. На плечах доски колыхались от ветра, и меня чуть не сносило в Волгу. Одна еврейка, кажется Мусина, я ее прежде не знала, посоветовала выбирать посуше, полегче: «А то вы подряд берете», - говорила она. Была она такая спокойная, сильная. Кабы мне такой быть, а я ведь связка нервов-струн.

Прибегала Наташа, кончили по соседству погрузку дров в вагон. Отбирала у меня тес и становилась за меня работать. Ей невольно приходилось уступать. Она сердилась если не так.

Следующие дни укладывали тес по берегу. Насыпали овес и рожь в мешки на баржах. Работы эти были временные.

Раз Вася поехал в Горький повидаться с Любой. Без него вызывают меня в ГПУ. Спрашивают: «Куда уехал муж?» - «В Горький, к дочери». – «Он вас обманул, его там нет». Я недоумеваю, обмануть меня он не мог. «Приедет, пришлите к нам». Через день является папа, я ему сообщаю. «А я, - говорит, - не застал дома Любы в Горьком. Квартирная хозяйка сказала, что они уехали к отцу в Лысково. Я и решил съездить туда, повидаться с ними. Это недалеко. А стал подъезжать к Кинешме, тут услышал, что в городе идут аресты».

Попил он чайку, переоделся, да в ГПУ. А оттуда не пришел. День, два, три, а его всё нет. У меня из рук всё валится. Сказали, что выслали его в Иваново, я поехала туда. Помню, была сенокосная пора, а шел непрерывный дождь окна в вагоне были открыты, ехала молодежь, пели революционные песни, а мне было очень тяжело, они не могли разогнать тоски. В Иваново мне сказали, что его выслали в Москву. Поехала туда, но ничего не добились, развинулась совсем, перестала спать: где искать защиты, что делать...

Побежала на мельницу, посидела там на крылечке у конторы, никто ко мне не подошел. Выглянут из мельницы и скроются. Пошла обратно домой, за собой услышала быстрый топот милиционера. Я уж была не в себе. Получаем телеграмму от Касаткиных о смерти сестры Кати, я и села на

пол, ноги подкосились. Помню, потом выливала на себя из ведер холодную воду и стояла в луже. Очнулась я в больнице, в отделении для нервнобольных. Бедные дети, каково-то им было!

Аня съездила в Москву (там Вася сидел некоторое время в Бутырках), обратилась к прокурору узнать, в чем его обвиняют. Там ей сказали, что его скоро выпустят, вины за ним не нашли. А я была в больнице, ничего не ела совершенно, мне казалось, что зубы у меня все трясутся и мне всё хотелось их выкинуть. Представлялось, что я и Вася сидим в тюрьме, и я перестукиваюсь с ним через стену. То представлялось, что дети хворают страшной болезнью, и я ужасно страдала, шла за живой водой для них и куда-то проваливалась. Проснусь, гляжу в одну точку, на печке против меня, всё казалось мне, что сидит монах какой-то. Вспоминала и Пазухина, называла его сынком. Меня спрашивали, - разве у вас есть сын. Я говорила, что В.П. мой духовный сынок. Потом видела Любу, пробирающуюся между облаками горами, она казалась мне зеленой (у нее был вязаный зеленый костюм) Мануэллой и я кричала ей: «Чутьем бери, чутьем, бери!»

Получше стало, лечили ваннами, да бромом. Я стала приходить в себя и узнавать окружающее. Помню, смотрела в окошко, из которого открывался вид на рощу и ручеек внизу. Птички порхали в кустарниках. Нас выпускали гулять на двор, там было возвышение, а мне казалось, что я на

Севастопольских бастионах и какая-то у меня власть и я всех прощаю. Дело в том, что мне в гимназии в первых классах была дана в награду книга «Оборона Севастополя» и я ее прочитала.

Лечил меня доктор Диесперов. Я помню, как была у него в кабинете и не могла удержать слез, а он меня уговаривал: «Беспорядки могут и долго продолжаться, а вы всё и будете расстраиваться? Возьмите себя в руки, вы человек здоровый». Я и теперь часто вспоминаю эти слова, когда чем-нибудь расстраиваюсь. Доктор говорил, что сейчас творится, - это болезнь, и как всякой болезни случится перелом и всё вернется к лучшему. От смущения, я помню, чуть было не стащила его очки со стола и не положила в карман, приняв за свои, но вовремя спохватилась, видя удивленные глаза доктора.

Когда я возвратилась домой, Вася уже был там. Но обыски всё повторялись по ночам. Я и во второй раз была больна. Начала кидать всё с лестницы: нате, берите всё. Убегала из дома. Аня за мной. Барабанила на пианино, мне казалось, что я хорошо играю. Высовывалась из окна, глядела вверх на самолеты и пела: «Во Францию два гренадера из русского плена брели. И оба они приуныли, дойдя до родной земли». Мне казалось, что я пою это про русских. Меня опять отправили в больницу. Там я ходила и напевала: «Подгорку шла, тяжело несла, в решете три зерна: мир, равенство,

братство. Уморилась, уморилась, уморилась. Самовар плывет по Волге-матушке, баржа семечки грызет, батюшки».

То плакать принималась. Декламировала на всю палату: «Над Москвой великой златоглавою, над стеной Кремлевской белокаменной, из-за дальних лесов, из-за синих гор, по тесовым кровелькам играючи, тучки серые разгоняючи, заря алая поднимается»... Прибежал слушать меня какой-то больной из соседней палаты и забился ко мне под кровать, большой такой. Прибежала сестра и сказала: «Не ори так!»

В этот раз я скоро поправилась. На больничном листе написали: «Истерия» под знаком вопроса. А в первый раз, не знаю. Побыла дома недолго и меня отправили погостить к Любе, чтобы рассеяться. Вот, что я записала по приезде домой: «Голова моя, головушка бесталанная, что мне делать с тобой? Не могу я из тебя выбросить думы постоянные, да мечты глупые. Всё мне верится в хорошее близкое, а его всё нет. Опять аресты, опять обыски. Когда же помиримся мы? Когда позовем из заграницы своих выгнанных братьев? Обхватила бы я ноги власть имущих и стала бы просить: «Помиритесь! Не надо крови, слез, злобы, вражды! Ведь все мы люди, все не без греха». Избави нас, Господи, от междоусобной брани, не доведет она до добра. А борьба всё идет, всё идет. Вечная память на брани убиенным. Не хватает терпения ждать. Не может выйти из головы Минин и Пожарский, то время, когда мы - русские, бросили свои распри, когда явились людьми, которым народ доверил, кому

потацили все свое имущество на общее дело. Ведь они есть и в том, и в другом лагере, есть страдающие, видящие не одни только чужие грехи, но и свои. Я верю, есть желающие протянуть друг - другу руки. Я думаю, что эти расстрелы в большинстве случаев, только на бумаге. Дождусь ли я минуты общего восторга, когда на наших плакатах появится: «Мир, равенство, братство», когда все заплачем от радости и умиления? Я была в Нижнем, сидела у бывшего памятника Минину и Пожарскому. Горит на нем электричество, светит, но не греет. Водилась с детишками, гуляла, подошла раз к телеграфному столбу, обхватила его, да всё бормотала: «Минин и Пожарский, Минин и Пожарский!» Мне казалось, что по всей Руси полетит этот зов. Был когда-то Владимир на Руси, сначала язычник, а потом христианин. Жив бы был Ленин, переменился бы и он. Пришло бы время, когда свершился бы в могучей душе перелом и взор стал бы мирен и кроток. И в сознании новых начал открылось бы новое зрение.

«И на берег вышел, душой возрожден,

Владимир для новой державы

И в Русь милосердия внес он закон –

Дела стародавних минувших времен,

Преданья невянущей славы».

/А.К. Толстой/

Помню, в Нижнем Новгороде дожидалась я трамвая из-под горы, а он остановился, где не следует. Молодые парни,

видать деревенские, с котомками за плечами, говорят: «Подсобить бы надо! Никак ему в гору не идет». Я подумала: «Не мешало бы». Другие засмеялись, только один сказал: «Ток не пущен, вот пустят - и пойдет». Наблюдала и другую сцену: трамвай идет в гору, ведет его баба. Остановила у будки – надо перевести на другой путь. Она старается в вагоне, а другая снаружи помогает ей, заглядывая в окна. Ожидающие мужики смеются: «Эх, бабы, бабы!» Вдруг налаживаться стало. Увидела я мужика впереди трамвая, а стоящий со мной рядом крикнул ему: «А, ну! Крути, Гаврило!» /Это большевистский пароль/. И пошел трамвай по другому пути, а мне стало легко и радостно. Мне почему-то подумалось, что: «Крути, Гаврило!» - большевистский пароль. Воображение уносит меня, бог знает куда. «А, ну! Крути, Гаврило, а то заеду в рыло мозолистой рукой!»

Вот мое письмо из Горького Василию Ивановичу:

«Милый дедушка! Я с внучатами сижу и письмо тебе пишу. Буду в Кинешме в четверг я – встречайте-ка меня! Пора и восвояси. Спать я стала крепко и песенки пою, внучата подпевают – два пузырька мои. Они шлют вам привет, к себе в гости зовут! Мама их пироги печет и папа помогает. Дело весело идет. Приложу я вот ребяток, да и в город поеду на трамвайчике. Тянет меня в кремль сходить, старину вспомнить, около Минина и Пожарского посидеть. Целую вас крепко! Будьте здоровы! До свиданья! Ваша мама».

А Люба мне говорила: «Тебе ли, мамочка, влиять на судьбы России». Часто я потом вспоминала эти ее слова, и они меня отрезвляли. «Будем делать хорошо свое маленькое дело», - говорила я себе, а до небесных сфер мне далеко...

Папочка мой умер, когда мы еще в Плесе жили. Хоронить мы его ходили с Васей пешком до Шуи в лапотках. Это было весной – на лошадях ехать было нельзя. Помню, всё хлестала ноги крапивой, чтобы разошлись. Посижу, присяду немножко, и они у меня немеют. К похоронам мы уже не успели. Это уже второй раз мы из Плеса в Шую ходили. Первый то раз это было, когда у папы случился удар на нервной почве при обыске – отнялась одна нога. Жалко было его, но потом он поправился и ходил с клюшкой.

До своей болезни он приезжал к нам в Плес погостить летом. Помню, еще Ваня был жив. Вася с папой собрались идти на Соборную гору, взяли и Ваню. Я велела ему надеть пальтечко, боялась ветра на горе. Ему не захотелось, и он залез под террасу, а они его за забором дожидались и кричали. Я рассердилась, да грубо схватила Ваню за руку и вытащила его из-под террасы и ну его стыдить, что задержал дедушку. Никогда я себе этого не могу простить, что сделала ему больно слабенькому. Ведь как его любила, предо мной и сейчас его ясные глазки...

Возвращаюсь к тому времени, когда мы жили в Кинешме после нэпа. Вскоре после моего приезда из Горького начались аресты и высылки торговцев и священников. Арестовали

Василия Ивановича и его компаньона Иосифа Васильевича и главного соборного священника Беликова (человека совсем не политического) и многих других. Сначала держали в Кинешме, а потом отправляли кого куда. Вот открыточка, присланная с пути:

«Дорогая Дуня! Привет из Вологды. Здоров, чувствую себя хорошо. Может быть завтра или на неделе тронемся дальше. С товарищами, которые назначены в Кемь, расстались, хотя они еще не выехали. Целую, твой папок».

6 декабря 1930 г. «Милая моя, мамок! Мы всё еще в Вологде и, когда доберемся до Архангельска, сказать трудно. Житье тесновато. Пища плоха. Хлеба дают 300 г, а суп очень жидкий. Сухарики подъедаются, покупаю хлеб (рубль пятьдесят кило), достать можно. Послал вам телеграмму, чтобы выслали сухариков, но, видимо, такие посылки не принимают. Поэтому не беспокойтесь. Тем более, что меня могут выслать в любой момент. Сидим здесь по случаю карантина, который сняли сегодня. Здоров. Всех нас остригли под машинку. Беликова тоже, и теперь он больше похож на ксендза. В камере душно, сидим, ничего не делаем. Адрес: «Домзак первый». Будь здорова! Целую ребяток! Твой папа».

18 декабря. «Милая мамок! Письмо об отправке посылки получил, а посылку еще нет. Мой приговор: 5 лет свободной высылки в Архангельск. Скоро ли выедем отсюда, сказать трудно, но, думается, не задержимся. Вспоминаю вас, еду с Беликовым А.И. Ребятишек и тебя целую».

31 декабря. Архангельск. «Милая мамок. Вот я и в Архангельске. Вчера вечером приехали. Приняли нас на работу – обоз дровозаготовительного отдела. Дали квартиру, которая еще только отделяется. Поместили нас кинешемцев – 8 человек, южан – 7 человек, а остальные – гаврилово-посадские – народ хороший. Будем получать паек и жалованье, пока ходим свободно. Сегодня был в бане. Цены здесь: молоко – шесть рублей четверть, сёмга - девять рублей фунт. Купил килограмм сахарного песку за два рубля пятьдесят копеек.

Пока ничего плохого не видать. Удостоверение выдано на четыре месяца прожития в Архангельском районе. Зато в Вологодской тюрьме мы испытывали все прелести Дантова ада. В нашей камере было до 80 человек, все – шпана, всё время на запоре. Грязи, клопов, вшей – велия! Выдавали по 300 г хлеба и суп, как соленая вода. Давали в день по кружке теплой воды. Так как на этой пайке существовать трудно велико недоедание. Народ – большинство хохлы, бежавшие с севера, которых держали от двух до семи месяцев в концлагере. Им заработать негде, это разоренные кулаки, и молодые и старые, бледные, исхудалые, обессиленные люди. Мне сухарей хватило, да и вовремя получил вашу посылку.

Сюда прибыл благополучно. А у Беликова кое-что пропало, но не больно существенное. Из Вологды ехали два дня вместе со шпаной, многих обокрали. Ехать было очень тяжело, а потому, попав здесь на свободу, как будто в рай

попал. Здесь стоит мороз 15⁰. Простились 6 декабря в Вологде с товарищами, которые поехали в Соловки, т.е. с Лариным, Тихоновым, Елисеевым, Задуминым, Забродиным, Назаровым, Мельниковым и др. Прощание было трогательное. Пока, до свидания. Целую всех. Твой папа».

«Милая мамок, здравствуй. Письмо от Ани получил, на которое отвечаю. Я перебрался на частную квартиру, так как в общежитии и душно, и шумно. Народу всё прибавлялось. На частной квартире лучше чувствую. Занимаю койку в прихожей, отделенной от кухни перегородкой. В ней помещаемся трое, в кухне еще четверо. Плачу за койку 13 рублей в месяц. Утром и вечером дают кипятка досыта. Можно в русской печке сготовить, когда что. Хозяйка – вдова 56 лет, хотя и ворчливая, но хозяйственная. Меня днем не бывает, так как в семь утра ухожу на работу, а ходу всего 15 минут. Вечером прихожу около пяти часов, когда народ весь в сборе, и садимся за самовар при общем разговоре. Я, как еще новичок, во всех не разобрался. Описание квартирантов сделаю в следующем письме. Народ порядочный, за вещи могу быть спокоен итд.»

1 февраля 1931 года: «Милая мамок, здравствуй! Я живу всё по-старому. Масленицу провел, как простой день. В субботу был выходной, в воскресенье работали. Блинов попробовать не удалось. Виделся в воскресенье с земляками: Афанасьевым, Смирновым и другими. Их направили на другую биржу, они там разбирают баланс, а мы возим дрова.

Это приблизительно верст десять от города, живут они в бараках. Не нравится, так как барак холодный, нары в два этажа – раньше тут концлагерь был. На частной квартире лучше. Днем на работе, а ночь сплю крепко: заботы здесь мало, работа не тяготит.

Квартиранты – два костромича-рыбака. Плетут сети в организации. Умные старики, они дома рыбачили и продавали перекупную рыбу, торговали и за это попали сюда. Рядом в прихожей спит помор. Теперь пилит дрова по городу, а летом уезжает в Мурманск ловить рыбу. Годов он шестидесяти, бессемейный, добродушный, он любит выпить и покуражиться. Хозяйка зыкнет на него, он мягчает, побаивается ее. Другой - рабочий-металлист, родом из Москвы, высланный. Любитель политики, покупает газеты, просит почитать: сам-то не сильно грамотный. Хороший работник, годов сорок пять, очень большого росту, также парень хороший. В кухне спит человек, был три года на Соловках, потом сюда на три года выслали. Кончил реальное, был финансовым инспектором в Грозном. Работал на заводе, не сократили. Видимо человек богатый, так как тратит много. С ним болтали о Кавказе. Он все время читает и валяется. Потом, рядом с ним – портной, парень молодой, из высланных, но самый заурядный. Вот в какой обстановке я живу.

У хозяйки дочь разведенная с мужем, служит на телеграфе, имеет дочку по второму году – слабенькую,

больную, которая часто ревет, но меня это мало беспокоит. От прежних товарищей поотошел. Будь здорова, привет ребятишкам. Крепко целую, твой папа. Вышлите мне рублей пятьдесят».

В это время мы уже жили в одной комнате, в другую селили к нам банкаброшницу с фабрики, вдову с дочерью лет семнадцати и с сыном лет пятнадцати – Дарью Прокофьевну с Катей и Мишей. Кухня наша проходная. Вот к новым то квартирантам и зачастили их родственник Шура Околотин. Он сын небогатого мясного торговца (ларек был у него на базаре, был дом, да сплыл, как у нас). А теперь Шура работал на лошади. Вот за этого то краснорожего парня, с которым свела нас судьба, и вышла моя меньшая дочь Дуня, самая красивая из всех. Шура увлекся ей. Мать его стала стращать нас, что он что-нибудь над собой сделает. Дуня стала жалеть его и грустить, когда я ему отказала, ну, я и сдалась. Помню, когда собирали ее к венцу и она стояла в фате и флердоранжах, а я плакала, она была веселая. Говорила: «Что ты всё плачешь, мамочка, в будущем, быть может, горе и не коснется до меня». А жизнь ее впоследствии тяжелая слоилась...

Вот письмо Василия Ивановича из Архангельска от 6-го февраля 1931 года: «Милая мамок, здравствуй! Сейчас получил от тебя письмо, где ты пишешь про Дуню. Посылаю ей моё родительское благословение. Хоть он и не больно развит, так еще ведь молод, со временем разовьется. Ведь и я в его годы был кряжом, и глуповат и грубоват, да ведь ты пошла

за меня. Ведь не всё в интеллигенции хорошо, счастье бывает в другом. А парень здоровый и по своему делу, т.е. по мясному, он понимает. Лишь бы не было у него каких-нибудь дурных сторон, которых как будто не видать. Да и Дуняша будет на него влиять в хорошую сторону. Я отца его с матерью хорошо знал – они не плохие люди. Всех не больно слушай: ведь каждый со своей точки зрения выступает. В приданое отдай им кровать, на которой спишь, стулья, Герту (оставшуюся корову) и, что еще у нас есть. Сами суживайтесь в хозяйстве, чтобы при случае, можно было перебраться на другое место. У меня всё по-старому. Только о вас немного беспокоюсь. Будь здорова».

Меня еще время от времени вызывали как лишенку на работы: насыпать в мешки рожь и овес на баржах. Там сталкивалась я с Шурой Околотиным. Он только краснел, а я каждый перерыв ложилась на пол где-нибудь за мешками кверху животом на спину и отдыхала. У меня было сильное опущение желудка и катар. А ведь старалась не хуже других работать. Мне надоело дома от молока промывать четверти и литровки. На людях веселее работать.

Вот еще письмо из Архангельска.

«Милая мамок, от Ани письмо получил с подробным описанием свадьбы. Спасибо ей за это. Мамок, купи мне на базаре онучи. Только получше 2,5 аршин. И оставь их у себя до осени. Мне пока их не нужно, а их купить можно только сейчас, осенью не купишь. Вероятно, они недешевы, но что

делать? Продают их напротив нашей старой лавки. Получил вчера от Любы посылочку и письмо. Спасибо ей за память. Видать, что у нее и делов много, а заботы еще больше. А также и письмо от Любы и Шуры. Пишут они так хорошо обе, что порадовался за них. Смысл письма Шуры тоже хорош.

Я живу, пожалуй, лучше, чем вы думаете. У меня, главное, нет забот, никаких деклараций, и налоги меня не беспокоят итд».

А нас в это время стали гнать и с квартиры, понадобилась для кого-то. Расстроилась я, стала писать своим родным в Шую, в Кострому Касаткиным, нет ли для нас чего-нибудь подходящего. В Винешме оставаться уже не имело смысла. И вот Ваня, сын сестры Кати, которая недавно умерла, и позвал нас к себе на квартиру. Давал нам небольшую комнату в 11 кв.м за 15 рублей в месяц. И я решилась перебраться сначала одна. Взяла только кровать, да кое-что из имущества. А потом, летом на пароходе – и Аня с Наташей. Привезли патефон, да маленький шкафчик, да сундук, и мы разместились. Аня на сундуке стала спать, а я с Наташей на кровати вдвоем. В тесноте, да не в обиде. В то еще был Александр Сергеевич (муж Кати) жив, её дочь Надя. Ваня работал в стройконторе инженером, а меньшой Шура был в Ленинграде. Наташа в Кинешме сначала работала на вокзале грузчицей, а потом разносчицей почты. В Костроме она поступила в стройконтору счетоводом. А Аня стала работать простым рабочим на стройках: подносила кирпичи, известку итд.

Потом стала вести записи подсчетов, попала в бухгалтерию тоже в стройконтору и работала в ней уже больше 20 лет. Наташе не захотелось работать в одном месте с сестрой, и она перешла на другое.

Вот письмо Василия Ивановича от 18 апреля 1931 года: «Милая дорогая мамок! От тебя получил открытку и письмо. Ты, оказывается, переехала в Кострому. Одобряю твой план. Думаю, думаю, что там будет поспокойнее. Я с семнадцатого опять в Архангельске. В Брусовицах работы закончились. Дороги испортились, и нас с лошадьми опять перевели сюда. Живу на старой квартире. Здесь, конечно, лучше чем в лесу. Могу тебе предложить, если найдешь подходящее время для себя, то приезжай ко мне. Только имей в виду, что здесь в доме много клопов. Если приедешь в конце мая, можно будет спать на полу и на чердаке, и на воле не будет так грязно погулять – ты ведь приедешь ко мне отдохнуть. Двины ждут открытие 10 мая. Только с собой обязательно захвати паспорт, в поездах спрашивают документы и тех, кто без документов, сажают в тюрьму. Да и здесь надо прописываться. Пасху провел нынче плохо. Первый день – работали, а во вторник и среду не работали: не было корма для лошадей, и они стояли голодные, а мы гуляли. Теперь дороги испортились и нас перевели сюда. Здесь жалованье больше: получаем два рубля пятьдесят копеек в день. Я здоров, чувствую себя хорошо. Большой поклон Александру Сергеевичу, Ване, Наде. Будь здорова, милая. Твой папок».

Вот моя открытка из Архангельска сохранилась: «Милые Анята и Надя и Наташа, пробуду здесь, наверное, около двух недель. Папок рад и не больно отпускает. День он на службе, а вечер проходит хорошо. Погода жаркая и дождички стали перепадать. Гуляем по набережной, были в новом театре на оперетке. Только я не досидела до конца: утомилась, да и в животе побаливало. Нет здесь моего лекарства – холодного молока. Днем вывожу клопов, вшей, скучаю; утром на базар сбегая, а вечером хорошо. Здесь против прошлого года голодно: круп не, овощи страшно дорогие. Хлеба папе хватает, а белые булочки дороже, чем в Костроме. У папы в столовой кормят сносно. Хозяйка ворчит, от дочери ее половина осталась (муж оказался дурным человеком), ребенок стонет и почти умирает. Будьте здоровы. Кланяюсь Касаткиным. Мама».

Во время перерыв на обед была я у папы, сидели около будки и с сожалением смотрели, как уплывают по Двине бревна в море. Сколько лесу уплыло!

В 1932 году Василий Иванович хворал брюшным тифом, и снова к нему ездила. Едва он выжил. Сохранилась его карточка после тифа – она больше скажет. Потом он начал поправляться. По всем городам шли обыски и аресты из-за золота. Взяли и нас троих: меня, Аню, Наташу. Держали при ГПУ три месяца. Меня некоторое время в тюремной больнице. Потом увезли в Иваново. Оттуда скоро вызвали Василия Ивановича из Архангельска. Он мне велел отдать золото, что я

и сделала. Его отправили снова в Архангельск. Мы пришли домой, а там хоть шаром покати: и с вешалки, и из сундука всё украдено. Только кое-что осталось в общей прихожей. В это время была дома только одна Надя, и она уходила на службу. А Ваня перевелся на работу в Ленинград, где и прежде служил, и взял с собою отца. Дети, Аня и Наташа стали работать по-прежнему, на старых местах.

Васино письмо из Архангельска: «6 сентября 1932 года. Милая мамок, твое письмо большое получил. Поговаривают, что стариков свыше 60-ти и инвалидов отпустят, и я уже подготовил заявление. Только надо получше проверить слухи, тем более, что у меня есть справочка от контрольной комиссии о том, что я способен только на легкие работы. Посылки не присылай пока никакой. В столовой кормят хорошо. Служба идет по-прежнему, получил 50 рублей за сверхурочные. Завтра подает заявление Андрей, ему кончился срок. Ну, будь здорова, милая, целую, всем кланяюсь».

«Милая Анечка, здравствуй! Как приедет мама, пусть сходит к нотариусу и заверит свою подпись к прилагаемому при сем поручительству. Когда пойдет к нотариусу, пусть захватит с собой паспорт и домовую книгу и распишется в присутствии нотариуса. Заверенное поручительство вышлите мне сюда заказным письмом. Это для того, чтобы маме не ехать сюда самой. Я попал в список досрочных отпускных. Но отпустят, вероятно, не так скоро. Будь здорова. Твой папа!»

25-го августа 1933 г. «Милая мамок, вероятно, в конце ноября буду в Костроме, да уж надоело мне здесь. Особенно плохо стало с квартирой. К хозяйке приехал сын с женой, и вот у них всё ругань идет между собой, так, что обстановка стала тяжелая. Меня только берет раздумье, найду ли я работу в Костроме? А то ведь буду большим бременем для семьи, а здесь пока кормлюсь. А на счет комнаты – я привык к тесноте. Для меня где угодно спать, было бы здоровье. До свидания. Всем кланяюсь. Твой папок».

06.09.33г. Вот Василий Иванович и в Костроме, и опять все мы вместе. Сначала думал поступить на службу куда-нибудь. Потом решил купить корову. Деньги у него нашлись – получил жалованье за два месяца, да за сверхурочные, да и от присланных нами с Любой у него остались. Я была против, боялась людской зависти, ведь на тех, кто имел корову, в то время злobiliсь. И плохая я ему стала помощница в этом деле. Но он сказал: «По крайней мере, сыты будем». И корова была куплена. Он сам стал за нею ухаживать, стал доить, изучил книги по уходу за коровами, по норме давал корм. А я делала домашнюю работу, да кое-что шила. Голодными мы не бывали. Надя – дочь Кати была еще с нами, учительствовала в Костроме, а потом и она уехала в Ленинград к своим. Одну комнату сдали Головачевым. В другую составили мебель. Приезжали только летом отдохнуть. Мы занялись еще садоводством и огородничеством. В этом деле и я еще могла помочь. Мы понемногу стали и одеваться...

Неожиданно разразилась и новая война с немцами. Жутко было слушать сводки Информбюро. Помню, о взятии Киева узнала в очереди за хлебом, прислонилась лицом к забору, чтобы скрыть слезы. Начались налеты аэропланов уже на Ярославль. Стали в Костроме рыть бомбоубежища, маскировали свет по ночам, заклеивали бумажными крестами окна. Раздавался жуткий вой сирены. Очереди за хлебом становились ужасные. Это было моё дело – доставать хлеб.

Учреждение, где работал инженером Ваня Касаткин, перевели из Ленинграда в Свердловск. Семья его: жена и двое детей приехали в Кострому и некоторое время жили с нами. А вот Шура, Надя со своим стареющим отцом застряли в Ленинграде и не смогли потом выехать. Сначала были о них сообщения о худом житье, а потом они прекратились. Семья Вани Касаткина уехала к нему в Свердловск. Вдруг, на Пасхе приехал из Ленинграда Шура - младший сын сестры Кати, обовшивевший, исхудавший, уже начавший опухать от голода. Он сообщил нам о смерти сестры и отца.

Надюшенька, Надюшенька, единственная дочка Кати, вот какая оказалась твоя судьба! У Шуры сначала было расстройство желудка, на улице по забору тащился, потом стал поправляться – молодость взяла своё. А в Ленинграде он был некоторое время нервно болен.

Но вот дождалась конца войны. Шура еще некоторое время послужил в Костроме учителем по слесарной части, а потом потянуло в Ленинград. Там у них квартира уцелела и он

уехал. Опять мы остались одни. Аня служила всё в старой конторе, а Наташа – недолго в Высокове, в инвалидном доме, а потом в Гортопе, где служит уже лет пятнадцать. Мы держали еще некоторое время корову, потом, когда это стало уже не по силам, продали ее. Папа берег деньги на то время, когда не в состоянии будет трудиться, скупился. Потом произошла денежная реформа.

У Василия Ивановича стала болеть голова, плохо он стал слышать. Поговаривал всё, что недолго проживет, а нам не думалось этого. Он был румяный, свежий. Последнее время всё читал посмертно изданные произведения Льва Толстого. Потом съездил еще в Плес на могилку к родителям и сыновьям, а неделки через две случилось у него кровоизлияние в мозг. Встал было до ветру и упал. Пострадав три недели, не владея языком, рукой и ногой, он скончался. Перед смертью Василия Ивановича, сидела я около него, бывшего в забытьи, беспомощного, как ребенок, и сквозь слезы пела: «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю, сам господь с высот небесных в колыбель глядит твою». В доме никого не было до вечера – все были на службе. Только врач навещал. Ведь иногда и поругивались мы и сердились друг на дружку (в старости стали раздражительными) и больно вспоминать об этом. Но все-таки мы были до конца верны своему слову: «Благослови и день забот, благослови и день приход». А вот осталась еще одна жить.

Теперь уже мои дети и внуки стали полноправными гражданами и даже я. О старом уже не поминают. Двое внуков в Красной Армии, один на ответственной работе. Малыши учатся. Одна внучка кончает сельскохозяйственный институт. А сын брата Вани имеет звание майора, два ордена, три медали и чехословацкий офицерский крест. Дочери когда-нибудь опишут свою жизнь. Простите, люди добрые! Врагами народа мы никогда не были и не будем! Евдокия Турушина-Шемякина. 18 января 1953 года.

«Еще одно последнее сказание и летопись окончена моя».

Это было в 1932 году. Только убралась, начистила картошки, хотела затопить печку, вдруг слышу, кто-то на лошади остановился перед окнами. Кричу Наде – думала не Александра ли Сергеевича опять будут спрашивать. Оказалось, это за мной приехали из ГПУ. Прошу позволить переменить белье. Меня торопя, принесут говорят. Я теряюсь, не беру с собой ничего, кроме кусочка хлеба. Сажусь на извозчика рядом с агентом ГПУ и едем. Аня с Наташей были в это время на службе. Посматриваю вбок на агента. Вижу, лицо красивое нервно подергивающееся. Мне пока не страшно. Я на всё готова. На допросе спрашивают про мужа и детей. Я говорю правду. И вот по телефону со службы вызывают Аню, потом Наташу. Меня оставляют сидеть в прихожей. Вскоре увидела Наташу, дрожавшую в холодном коридоре. Переговариваться не дают. Меня введи снова на допрос. Не

думала я, что возьмут детей. За что? Они не виноваты в том, что мы их родители. На допросе требуют золото. Говорят – сорок тысяч, на мужа был донос. Меня уговаривают отдать, страшая ссылкой на три года и конфискацией всего имущества, ссылкой не только меня, но и детей. Говорю, что нет у меня золота. Не верят. Посадили по разным камерам. В моей сидят человек 20 – 25. Вдоль стен нары в два яруса. Мест не хватает – спят и на полу. Масс клопов. Передавить их нет никакой возможности. Стены все в кровавых пятнах. Спать-то здесь, говорят, не придется: клопы и вши не дадут. Да и ночью же на допрос вызывать будут. Отдайте, говорят, если есть, а то замучаетесь. Некоторые сидят недели две, другие уже по месяцу. Народ всё незнакомый: я ведь в Костроме всего два года и никого не знаю. Среди них жены бывших торговцев, крестьяне из деревень. Одна – бывшая горничная, а теперь фабричная работница. Про нее говорят, что была любовницей богатого человека. Есть те, которые плачут, волнуются и тоскуют. Есть раздражительные, нервные, говорливые и молчаливые.

И потянулись ночи без сна, одна за другой. На день выдают 250 г хлеба, жидких кислых щей раз в день и по кружке тепленькой воды без сахару. Леднев, такой оказалась фамилия гепеушника, что меня привез, приходит в камеру и всех уговаривает отдать золото. Иногда обращается к отдельным лицам. Я чувствую правду в его словах: сидеть будет тяжело, но я готовлюсь к страданиям, лишь бы детей выпустили. Вечером иду на допрос. За письменным столом

сидит Леднев, у стола два стула, но меня не приглашают садиться. «Что вы имели?» «Дом и мельницу». «Какую?» «В день тысячу пудов муки мололи». «А говорите, что у вас золота нет». Из соседней комнаты выходит плотный, среднего роста господин. Леднев обращается к нему: «Вот имели дом, торговлю, мельницу с помолом 1000 пудов в сутки и...» Его обрывают: «Это меня не касается. Ближе к делу». И вот, говорят, что у них нет золота. «Надо отдать, у вас есть. Иначе хуже будет», - обращается вошедший ко мне и идет дальше. В голосе, в манере держаться чувствуется властность. Я понимаю, что это начальник ГПУ. Объясняю, что полученная от торговли прибыль потрачена на постройку мельницы и складов при ней. Освободившийся оборотный капитал, когда мельница перешла на государственный помол, отнят был контрибуциями, да еще на сто тысяч куплены были облигации «Займа свободы». «Нет, вы отдайте нам!» Отпускают обратно в камеру.

Всего я не помню, как и что. Сначала я духом не падала. Окружавшие развлекали, я присаживалась к ним. Вот бывшая трактирщица – красивая, бойкая, нарядная молодая женщина негодует на ноющую и плачущую соседку, ходит иногда по камере, как пойманный зверек в клетке, возмущается на тех, кто выдали. Вот на верхней полке лежит неподвижно собирающаяся голодать худая бледная женщина. Вот, кажущаяся мне подозрительной приторно-ласковая, выпрашивающая пожилая, по виду чиновница. Вот простая деревенская баба, над которой Леднев не зло посмеивается:

«Нашла, где спрятать золото – под юбкой!» Оказывается, подметалась, обхватывалась она. Раздели, обыскали и нашли несколько золотых. Смех Леднева не злой. Мне даже легче становится на душе от него. «Дура деревенская» - говорит одна из сидячих. Мне не жалко эту бабу, я чувствую себя более близкой к ней.

Вот, оказывается, есть здесь и кинешемская мануфактурная торговка Дора. Я ее не знала. Только слышала от молодежи, что у нее хоть и немного товару, да он хорошо: вкус у нее есть. Первое впечатление от нее – как я увидела ее в прихожей ГПУ – не торговка, а скорее – воровка – плутоватое некрасивое что-то. В камере она показалась мне другой - там уже было у нее страдающее лицо. Мне захотелось приветить ее. Я припомнила, как подруги дочери собирались к Доре за покупками, говоря, что у нее расцветки рисунка тканей хороши.

Привели в камеру деревенскую девушку, молоденькую, красивую, той красотой, которая бывает только в глуши, и ее бабушку. Девушка одета в старенькую неважную душегрейку синюю и в старинный же более красивый ситцевый большой платок. Был и верхний полушубочек у нее. Она казалась мне очень миловидной. Что-то нежное проглядывало в ней. Не была она похожа на грубоватых здоровых деревенских девок. Старуха была с зубами выдающимися вперед, сгорбленная, с юрким взглядом. На требования Леднева она отвечала: «Нетути, бабушка, нетути».

Медленно тянутся дни и бессонные ночи. Узнаю, что и дочери еще сидят. Это меня мучает, голова начинает болеть от дум. По приходе Леднева я обращаюсь к нему с просьбой, чтобы дали мне бром. Как бы ни сойти мне с ума, как это уже раз было у меня. Он отвечает: «Помогай себе сама Шемякина. Ладно?» Кручусь на нарах. Вот как-то Леднев приходит, а ему пою: «Понапрасну, Леднев, ходишь, понапрасну ноги бьешь!» Смеется, и я смеюсь.

Миловидная девушка первые сутки была веселая и, пришедши с допроса, смеялась и рассказывала, как ее там хвалили. А со следующего допроса пришла такая печальная, грустная и тихо плакала, лежа на разостланном полушубке на полу. У нее, оказывается, здоровье было, как говорят, тронуту, невращения или нервная истерия. Я сказала об этом Ледневу. Вот, раз он пришел и стал уговаривать девушку, а сам так ласково, задумчиво, глядит ей в глаза, да зад почесывает. А ему: «Что ты ей в глаза-то глядишь, да задницу почесываешь? Или приглянулась?» Обернулся, смеется: «Уж не в тебя ли влюбился?» «Долго ли до греха?» - отвечаю я ему. Немножко уже я не в себе, не такая уж молчаливая, как прежде.

Вот я в кабинете Леднева на допросе. Входит молодой следователь небольшого роста, с нежным цветом лица. На нем длинная, почти до полу шинель, новая, только что полученная должно быть. Он глядит важно, строго мне в глаза, не мигая. А я в его глаза, пока не устану. Мне казалось, что это подросший теперь мальчик из детского приюта в Плесе.

Мальчик, которого я привечала после смерти Володеньки. Он еще долго ходил к нам за детскими книжками, был на елке рождественской у нас. Кое-чем я баловала его. Как-то в мороз увидела его посиневшего в драном картузике и дала ему шапку-ушанку. С того и началось наше знакомство. Но это был, конечно, не он. Поглядел так этот следователь мне в глаза, повернулся и вышел, ничего не говоря. А Леднев улыбается, глядя на его шинель до пят. Уж очень не вязался его серьезный долгий взгляд с его лицом и этой длиннополой шинелью.

Потом к нему стали водить меня на допрос. Он вежлив, уговаривает меня отдать золото, пожалеть дочь, у которой уже заболели ноги от сидения в одиночке холодной. На лице следователя румянец горит, шинель уже укорочена и он уже не кажется мне таким юным, как в первый раз. Я думаю, в тот момент он не, в самом деле, жалеет мою дочь, а говорит об этом только для того, чтобы выудить золото. Мне тяжело. Не помню, на каком допросе и кому на угрозы держать дочерей в холодных и душных камерах, я отвечаю: «Ну, что ж, пусть примут боевое крещение, а то без отца я их избаловала». Может быть, это я так сама с собой разговаривала.

Когда у Леднева И Сотского не вышло дело, является высокий брюнет с широкими черными бровями и толстыми губами. «Давайте мне её, я живо из нее вытяну!» И вот он берет меня наверх, в свой кабинет. Остаемся там одни. При входе кто-то предлагает позвать гипнотизера. Он отвечает: «Я

сам ее загипнотизирую!» Предлагает садиться в кресло. Звонит кому-то по телефону, сообщает, что у него больна жена, а денег нет. Поворачивается ко мне и раз сорок подряд спрашивает золото. Когда мне надоедает повторять одно и то же «нет» и я молчу, он грубо кричит: «Вы будете мне отвечать!» Все время он заставляет смотреть ему в глаза, приближает близко свое лицо к моему, руками делает манипуляции, криком заставляет держать глаза открытыми. В его гипноз я не верю, только приближение его лица к моему вызывает отвращение у меня. Начинает задевать дочерей: «Им не будет места, они сделаются проститутками; одна ничего себе – сгодится!» - говорит он, чавкая толстыми губами. «Другая и для этого не годна, с голоду помрет!» Меня поражает такое издевательство со стороны представителя власти. Такого я не ожидала. Слабость разливается по всему телу, чувствую, что уже не могу подняться, сердце замирает и я мысленно говорю: «Господи, прими дух мой с миром».

Очнулась я уже в коридоре на полу. Слышу незнакомые голоса: «Ишь, ноги-то оголила, хоть бы постыдилась!» Голос издевателя Старосельского (как я узнала позднее): «Позовите Сотина!» Шаги, пульс щупают. «Готовая?» «Да нет, жива!» «Что вы с ней сделали?» - раздаётся надо мной испуганный голос. Я открываю глаза и прошу «Милая, дай мне водички». Она мне приносит пить и исчезает. Я не помню ее лица, только голос нежный. Сажусь. Грубый голос: «Уведите ее! Вставай!» С трудом поднимаюсь, подталкивают меня в спину. Отойдя шага три, падаю, снова поднимаюсь. Дохожу до угла в

коридоре, прислоняюсь к стене, отдыхаю, и меня уводят в камеру.

Я еще в общей Мне хочется пописать, и я хочу это сделать в урну для сора. На меня набрасываются с криком: «Испортишь воздух!» Мне сейчас не дойти до уборной, да и не пустят без времени. Резь внизу живота поднимается, с трудом терплю, влезая на койку и отворачиваюсь к стене. На следующий день вызывают снова, только в нижний кабинет. За столом Старосельский, сбоку от него Аня, у стола стоит начальник ГПУ (Чумаченко). Подхожу, гляжу ему во внимательные глаза и говорю с мольбой: «Ленин сказал: «Щадите молодые силы» Пощадите детей!» Сочувствующий взгляд. Старосельский как будто немного смущен. Насмешливо: «Она знает, что говорил Ленин!» «Да!» - твердо отвечаю. Обращается к Ане: «Имущество всё отберем, работы не дадим, сделаетесь проституткой!» «Советский Союз проституток не разводит, пойду работать». Так она гордо и спокойно сказала, что мне стало радостно: «Сумела дать ему отпор». Нас отпускают в разные стороны.

Наташу всё не вижу, но ходившие убираться соседи по камере говорят, что видели ее, проходящую на допрос, и что она веселая. Меня это успокаивает. Вызывают меня снова, думаю – к Старосельскому. Словно, кто меня обухом пришиб. Поднимаюсь наверх, ко всему готова. Встречают, направляют в кабинет к Сотскому. «Зачем вы туда пошли? Вас вызывали сюда» Говорит вежливо, приглашает садиться. Снова уговоры

пожалеть детей и прежние ответы. Я уже расстроена, мне не до чего. Красные подвязки отстегнулись и волочатся по полу. Мне на всё наплевать. Уводят в общую камеру. Там развлекают разговорами, но голова у меня уже болит и в ней туман. Приходит Леднев, кричит: «Семерых выпущу, если Шемякина отдаст, уговорите!» Ком не обращается бывшая Зотовская горничная. Высокая, крепкая, в хорошем белье, приятная. «Отдайте, всё равно придется, измучитесь, а то и нас подведете – всех будут долго держать, лучше теперь, чем потом». Молчу. Помню, раз Леднев говорит «Отдайте, Шемякина, мы вам советскими заплатим, крупчатки, песку дадим два мешка из Торгсина».

«Я дел своих ценою злата не взвешивал, не продавал, не ухищрялся против брата и на врага не клеветал, но верой в бога укреплялся», - голос у меня дрожит, срывается, прячу слезы, замолкаю и ложусь. В душе поднимается сила; я возбуждена. «Вы думаете, - обращаюсь к окружающим, тоскующим о свободе, - что время даром проходит. Нет, ни одна слеза даром не прольется, ни одно страдание не пройдет бесследно!»

Вот начинаются в камере разные рассказы. Я говорю: «Давайте сочинять на премию, теперь у писателей идет соревнование на лучшее сочинение». «Ну, начинай!» Немного смущаюсь. «В психиатрическом отделении Кинешемской больницы лежит женщина (у нее муж в ГПУ взят) и представляются ей в тумане тысячелетия, высятся огромные

старинные весы, колеблется коромысло, ходит стрелка - взвешивают грехи царского времени и теперешнего. Она глядит на стрелку: вот-вот скоро установится равновесие; но еще нет, то одна, то другая поднимается и падает чаша весов». Общее внимание, но я не могу продолжать дальше. Нет, не умею я сочинять. «Эх, ты, а еще на премию, сочинительша!»

Лежу и припоминаю. Память уже изменяет, а какие чудные, а порой странные видения были. То казалось мне, что лежу я на койке в тюрьме, а надо мной, в верхнем этаже сидит Вася, и я с ним перестукиваюсь. То, будто я по Северному Ледовитому океану пробираюсь по льдам в каком-то вагончике. Кто-то еще со мной есть. То и дело, мы то проваливаемся, то поднимаемся на ледяные горы. То бросает нас в сторону, утопаем в снегу, то перебрасывает с льдины на льдину. Вот мы наполовину в воде, почти тонем, ой, как холодно, то снова выкарабкиваемся. Всё будто бы немка какая-то мешает нам добраться. Но вот и берег. Слава тебе, господи. Я просыпаюсь. То снится мне будто бы я углубляюсь в землю легко там бегу и будто я девочка-солничка. На голове у меня маленький огонек. Много уже не могу припомнить. Были сны и тяжелые, про детей, про болезни. Страдала я за них ужасно, но какой-то голос мне говорил: это только в твоём воображении.

Вот один сон, более легкий: Любонька плывет по Волге с Кирулькой. То на спину его посадит, то на живот. Плывет то кверху личиком, то книзу. Совсем уже из сил стала

выбиваться. Вдруг ее выбрасывает на берег в Отраду. Это рыбацкая деревушка повыше Плеса. Чудная местность, кругом приветливые жители. Она спасена. В другой раз, когда я была в больнице: будто бы мы все на Руси помирились. И будто я плыву из Нижнего в Кинешму и все мои любимые писатели со мной и я среди них. Справляем что-то вроде студенческой вечеринки в Татьянин день. Я будто программу вечера составляю. Какие песни льются, какая музыка, декламация! Как красиво в воображении и как бедна жизнь. Только и помню меню обеда: горячая черкасская солонина с хреном и горчицей, стерляжья уха и старинный варенец с изюмом и миндалем. Пели: «Коль славен наш господь в Сионе не может изъяснить язык, велик он в небесах на троне, в былинках на земле велик». «Проведемте, друзья, эту ночь веселей, пусть студентов семья соберется дружной». «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны выплывают расписные Стеньки Разина челны». «Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана». Это всё я выдумываю и выдумываю. Ведь в нормальном состоянии я так обыденна.

Я вскакиваю на койке: «А что, братцы, кабы мы все помирились. Ух, и заделали бы мы пир на весь мир! Всю за границу бы в гости позвали. Ликуй, матушка-Русь! Ведь придет же время, когда на нашем знамени будет не война и злоба, а мир – равенство – братство! Вечная память на поле брани убиенным! Что, Дора, приуныла? Или совесть заговорила? Ничего, все люди грешны, один бог без греха. Может скоро вот на флагах напишут: «Эй, вы, купчики-

голубчики, выходите торговать!» Засмеялись мои слушатели: «Держите карман шире». «А что, если бы не стало ни кулаков, ни буржуев, ни пролетариев – все люди, все человеки! Как было при Минине и Пожарском. А?» «Дура – душой, а когда и умное слово скажет! Всё бы, кажется, отдали» «Да и не понадобилось бы ведь. Всё как бы из-под земли бы явилось. Ведь, правда? Вот вы бы на праздник будущий опять бы буфетчицей стали. Уж собрала бы буфетик «антик малина» и сама бы за ним нарядная и красивая бы встала». «Эх, братцы, всё пройдет, всё быльем порастет, а что пройдет, то станет мило».

Задумались, речи прерываются. Вызывают кого-то на допрос. Заснуть бы мне. Дурочка, дурочка я. Сглазил, сердечную, кто-то меня. Вздремнула немножко, отвернувшись к стене, и забылась. Вот другая ночь. Всё тело исчесалось, невмоготу. Рубашку снимешь, посидишь голая, хоть немного отдохнешь, не так кусают. Боязно, ведь поглядеть могут в двери-то: «Шемякина, Шемякина, как тебе не стыдно?» Спина у всех одинаковая. Наплевать. А в голове-то всё туманней. Вот мне слышится голос из-за стены: «А чем у тебя муж – то деньги наживал?» «Все своей энергией, умом, да был своим рабочим и служащим другом и советником. За это и любили его». За стеной: «Ай да Шемякина!» Люблю Васю таким, каким он есть со всеми недостатками и достоинствами. Есть много лучше, есть много хуже, а таких как он – нет! Он отец моих детей.

Из следователей один к нам ходит Леднев. Я его не боюсь. Как он не старается лаяться, как собака, а все человеческое в нем проглядывает. Охрип уж бедняга, кричавши. Отворит дверь, распахнет ее, свежего воздуха впустит к нам в камеру. У меня нет на него никакой досады, никакого зла. Привыкла я к нему и кажется он мне актером из Художественного или Малого театра, присланным нам сюда на ответственную работу. Хлеб у меня еще остается, я не доедаю и отдаю другим остатки. Только молока мне хочется, но передач мне нет. Одной из заключенных толкнеца передали и она дала мне ложечку. С каким удовольствием я его съела! Спасибо ей. Она рассказывала мне, что муж ее спился, всё с себя пропил. Измучилась она с ним, и какой-то священник посоветовал ей не жить с мужем, чтобы окончательно не подорвать здоровье. И вот теперь она одна, а здоровье всё плохо. Он любил её и говорил, что ни на кого ее не поменяет. А допьется бывает до того, что в грязи валяется. «Эта то грязь отмоется, а вот нравственную грязь не скоро отмоешь», - говорю я.

Раза два в день нас выпускают на двор, за нужным делом. С какой радостью вдохнешь свежего воздуха, там словно под дубом маврийским (громадное дерево около ватера), с головы платок скинешь, волосы, разделенные на две половины встряхнешь, и словно крыльями помашешь, голова-то освежится, воздух до коней дойдет. Вскоре только перевели меня из здания ГПУ в какую-то бывшую конюшню. В маленькой, не больше двухместной каюты пароходной,

комнате сидело человек одиннадцать. Койка одна была, кажется, широкая, да скамейка. Духота нестерпимая, воздух вонючий, спертый. Я бросилась к едва видневшемуся оконцу и легла под ним на полу, да так уж и не вставала. Аппетит у меня совсем пропал. Хлеб мне казался как уксус. Варевое тоже не могла хлебать – только воды глотну. Ослабла, прошли мечты. Умереть бы! Где дети? Каково-то им? Не помню, сколько времени просидела или вернее пролежала я тут, не принимая пищи. Из заключенных мне врезалась в память женщина с провалившимся носом, стоявшая как смерть в углу. Она была ко мне ласковая; когда я сердилась, она протягивала мне стаканчик свой с водой, и я не могла ей отказывать – не пить, чтобы ее не обидеть.

Из этой камеры ходила раз к Ледневу на допрос. Приведут сначала с милиционером в прихожую ГПУ среди ночи. Присядешь на кожаном диване. Голова трещит, клонится, спать не велят. Прихожу к Ледневу. Он за письменным столом, сажает на стул напротив. Голова у меня в тумане, на бок клонится. Я ее кладу на стол. «Посидим рядком, да потолкуем ладком», – говорю я. Леднев улыбается. О чем дальше говорили, не помню. Как-то раз я сказала: «Зачем вы Нижний – то Новгород Горьким назвали? Он сладок сердцу русскому, а не горек». Сотский был тут. Смеялись.

Позвали на допрос другой раз. «Была, – говорю, – сила, так ходила, а теперь уж нет». И лежать продолжаю. Товарищи по несчастью говорят: «Не умерла бы уж она, не есть

ничего». Вывели в коридор, Сотский тут. Какой-то доктор выслушал пульс, говорит, что еще немного можно подержать, но Сотин заявляет, что они решили меня отправить в тюремную больницу и вот я, растрепанная дотащилась до кареты скорой помощи и еду. Свежий воздух подкрепил меня немножко. Поместили в большую комнату с железными кроватями по стенам. На всех лежали и сидели женщины. Одной из них велели вымыть меня в ванне. Она мне старательно вымыла и расчесала волосы, у меня руки плохо поднимались, и спину помыла. Только я очень озябла и сделался у меня сильный насморк. Эта же баба отвела меня на кровать, укрыла одеялом. Я сняла с себя лиф и стала в него сморкаться. Носового платка-то у меня не было. Когда я его весь загрязнила, она же простирала его, высушила, принесла и повесила на кровать белоснежным. Я говорит, ведь хорошо белье стирать умею. С ней я делилась хлебом, у меня он оставался, а она откусывала от своего куска сахара и давала мне.

Раз, пришла фельдшерица, принесла большой открытый низенький ящик с лекарствами, поставила его. В это время ее кто-то крикнул из коридора и она убежала. Некоторые больные бросились к ящику, схватили пузырьки с бромом и еще с чем-то. От некоторых отливали. Я закричала: «Что вы делаете?» Вернулась фельдшерица и, кажется, ничего не заметила, стала давать лекарства. Когда остались одни, столько я наслушалась похабщины, что не выдержала, закричала: «Меня рвет от ваших слов!» «Ишь, какая барыня

нашлась!» Стали расспрашивать, где я жила, за что попала сюда. Я всё им рассказала.

Приходил молодой доктор, кое-что спрашивал, глядя в потолок, а не на больных и быстро ушел. Мне фельдшер сделал вытяжку желудочного сока в соседней комнате. Я ему так сильно не давалась, что он едва справился со мной. У меня в пальто нашлось несколько рублей, и мне покупали молочка, и я пила его холодное по несколько глотков и ставила его на окно. Перед окном была сторожевая вышка, по которой ходил часовой в полушубке. Иногда я пела. И кто-то приходил сюда и спрашивал у меня что-то много золота. Я ему ответила, что соплей столько не насморкаешь. Спросил кто-то кем бы я желала быть. Я ответила, что сестрой милосердия для нервных больных. Ты говорят, ей и будешь. Долго ли я тут пробыла, не помню.

Ехали с Сотским снова в ГПУ на санках по первой пороше, и я вспоминала, как мы катались с мужем вдвоем; подышала с упоением свежим воздухом. Привезли опять в конюшню. При мне вымыли шваброй стены и пол в одиночке и оставили меня в ней на полу, заперев. Я очень зябла тут, стали болеть ноги, распухли, стану ступать, как на иголки ступаю. Пришлось ползать, стала кричать: «Лучше убейте, чем делать меня инвалидкой в тягость другим». Иногда боль утихала. Хлеб отдавала милиционеру, прося отдать дочерям. Заглянула раз ко мне в окно Наташок, окликнула меня. Уж как я рада-то была!

Посадили ко мне еще женщину. У нее была шаль хорошая и мешочек с кусками сахара. Она меня всё расспрашивала про семью Шемякиных. Оказывается, служила когда-то в Кинешме на почте. Спрашивала про Ленина и Сталина. Я ей сказала, что Сталина не знаю, а Владимир Ленин никогда не поедет в запломбированном вагоне. Болтовня, ложь. «Откуда все это вы знаете?» Я читала в фельетоне «Русского слова» - писал Чириков: «Где-то он наш воробушек, где попрыгивает, где поскакивает?» Я еще эту газету приносила показать Игошину. «Как вы мне посоветуете, отдать им золото?» Каждый сам за себя должен решать, неужели бы я пожалела золото, а не детей? «Ведь оно ваше наживное, нажитое вами или доверенное мужем на хранение?» - спросила я. Смысл был такой, а слов точно не помню. Спрашивала про евреев. Я говорю, всякие есть. У моего папы был знакомый еврей Цетли фамилия (могу и спутать, кажется, из доверенных, папа его уважал). Он бывал у нас в доме, пил чай. Сын его был женат на русской. У Василия Ивановича тоже был знакомый зубной врач Зак – это хороший, а другой – Бомштейн похуже, плоховато работал. Но есть и из евреев неприятные, сталкивалась я с ними в очередях за хлебом. Русские, хоть и прут без очереди, да явно, с ухарством и усмешечкой – кто кого осилит. А еврейки – плутовством и обманом, исподтишка. Они вот только друг за друга держатся крепко, а мы – русские частенько друг на дружку.

Днем она уходила на допрос, оставляя мешочек с сахаром и шаль. Без нее я покрывалась шалью, а когда она

возвращалась – отдавала ей. Она всё поднимала вопрос о золоте, а мне оно так надоело. Я сводила разговор на другое. После я догадалась, что она была подсажена ко мне для допроса, а тогда это было мне невдомек. Недаром пословица говорит: «Русский то мужик задним умом крепок». Я с ней много болтала.

Скоро меня с дочерьми свозили в баню, а потом отправили на поезде в Иваново, всё под конвоем. Когда мы входили в прихожую ивановского ГПУ, мне бросились в глаза ружья с примкнутыми штыками, стоявшие за барьером. Я закричала: «Так я и испугалась ваших ружей! Мне и жизнь то недорога!» Камера в Иваново была во втором этаже, сухая и светлая. Не так уж битком была набита арестованными, и кормили лучше. Наташе я давала хлеба, а она мне сахару. Аня ничего выглядела, а рослой Наташе было труднее, голоднее и она подедала заплесневелые корочки, оставшиеся у других. Водили меня раз в комнату через двор. На столе тут стояли какие-то машинки. Приходил ко мне кто-то из ГПУ, скромный с виду. Я ему что-то про фабричных рабочих говорила: «Загоните, как бывает, лошадей загоняют». «Знаете ли вы, кому вы говорите, ведь я начальник Ивановского ГПУ!» «Если бы был даже сам Сталин, я тоже бы ему повторила». «Больная женщина», - сказал он, встал и ушел. В камере ночью я стала поглядывать на большую форточку в верхней части окна – нельзя ли как-нибудь выпрыгнуть из нее и разбиться, чтобы отпустили детей. Но трудно было это сделать неслышно. И в окно поглядывала изредка.

На другой день мне сказали, что скоро я увижусь с Василием Ивановичем. Его вызвали из Архангельска. И вот в той же комнате, через двор я увидела его у стола одного: «Дуня, отдай золото, проживем, всех вас отпустят!» Я вскочила: «Идем, мне его не надо!» Вижу Леднева в другой комнате, где меня оставили, чего-то дожидается. Он мне сказал: «С этого надо было начинать!» И вот, едем в Кострому на поезде. С одной стороны у окна начальник Костромского ГПУ и главный агент по золоту, который страшал меня ужасной горячей камерой и которому я ответила, что с телом, что хотите можете делать, а с душой – нет. С другой стороны – все мы. Вася говорит: «Как ты похудела, дай-ка я руки-то тебе погрею». Я протянула их ему. Начальник ГПУ дает мне большой кусок сыру, я отдаю его детям. Агент только зло посматривает. В Костроме меня и Василия Ивановича повели на нашу квартиру. Я показала, где зарыто золото. Выкопали. Вот еще здесь берите. Не двадцать же раз канителиться. Там пересчитали и расписку дали в получении 4 360 рублей (расписка у меня сохранилась) и отпустили домой с Аней и Наташей.

Давали мне прежде протоколы подписывать. Я без очков ничего не видела, но подписывала их, не разбирая. За Василия Ивановича обещали хлопотать, чтобы его выпустили до срока. Держали его в Костроме недолго, отправили опять в Архангельск.

Мы пришли домой. На стене в комнате нашей нет никакой оставленной одежды. Открываем сундук – одни газеты, да дрянь какая-то. Всё украдено, даже с полочек. Чудом уцелел будильник только. Пропажа вещей всего больше поразила Наташу: «И мою любимую плюшевую жакет взяли и шерстяное синее платье. В чем же я буду ходить на службу, как нищие будем!» «Полно, Наташок, - говорю я, - Как хорошая-то душа будет в глазах светиться, будешь хороша и в плохой одежде!» На службу опять приняли и стали жить и работать и папы дожидаться. Вот и всё!

Евдокия Ивановна Шемякина. Об остальном, что я не дописала, можно узнать в архивах ГПУ за 1932 год.

Мамины записи переписала Наташа Шемякина.

льков Михаил Николаевич

Родился в 1877 г., Горьковская обл., с. Горбатово; русский; ссыльный. Проживал: Коми АССР, Сторожевский р-н, д. Ивановская.

Арестован 22 апреля 1932 г.

Приговорен: Тройка при ПП ОГПУ Северного края 5 сентября 1932 г., обв.: по ст.ст. 58-10 УК РСФСР, 58-11 УК РСФСР.

Приговор: 3 года лишения свободы

Источник: Книга памяти Республики Коми

Шемякин Василий Иванович

Родился в 1870 г., г. Кинешма, Ивановская обл.;

Источник: Книга памяти Ивановской обл.